

О советской интеллигенции, эстетических предпочтениях сталинских министров и встрече с убийцей Троцкого

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1549>

🎤 26 марта 2013

Собеседник

Андерсон Кирилл Михайлович

Ведущий

Прокудин Борис Александрович

Дата записи

Беседа записана 26 марта 2013 и опубликована 23 апреля 2013.

Введение

Историк Кирилл Михайлович Андерсон рассказывает о традициях исторических исследований своей семьи, поколении шестидесятников и о том, как его выгнали из МГПИ. Ученый рассказывает о своей профессиональной судьбе руководителя отдела «истории общественной мысли» Института всеобщей истории РАН, преподавателя, директора Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Вспоминает о своих учителях и коллегах, классиках советской исторической науки А.З. Манфреде, Б.Ф. Поршневе, А.Э. Штекли и других. Собеседники обсуждают вопросы о том, дает ли изучение документов объективное представление об истории, насколько оно формирует ощущение сопричастности или мифологизирует ее. Кирилл Михайлович говорит об архивах Ленина и Сталина, размышляет о новых утопиях, о взаимоотношении власти и интеллигенции.

Борис Александрович Прокудин: Дорогие друзья, сегодня мы говорим с Кириллом Михайловичем Андерсоном — доцентом кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета.

Я хотел бы начать с биографической части, с рассказа о себе, о тех событиях жизни, которые сформировали вас как личность. Были какие-то события, которые оказали решающее воздействие на ваше становление?

Кирилл Михайлович Андерсон: В общем-то, событий было немало, и я не могу сказать, какие из них были решающие, а какие — нет. Человек меняется, как правило, незаметно для самого себя. Глобальные события, которые по молодости лет меня не очень огорчали, но зато огорчали моих родителей, такие события были. Сначала меня выгнали из школы № 1, она здесь, недалеко от метро «Университет», за театром Джигарханяна. После восьмого класса мне поставили «четыре» по поведению, собирались ставить «тройку», но при условии, что я уйду из школы, поставили «четыре». Я перебрался в другую школу, которую благополучно закончил. В последние два года я в ней учился. В общем-то, для родителей это было не очень хорошо, но поскольку та школа, в которую я попал, была английская, два последних года я учил язык на хорошем уровне, в хороших условиях. Второе событие, тоже опечалившее моих родителей, когда меня выгнали из института.

Б.П.: За что же вас выгоняли?

К.А.: У меня больше с дисциплиной было... Я учился на истфаке МГПИ имени Ленина, декан у нас был человек очень либеральный, он сказал: «Я могу тебя за это, за это, за это и за это... Выбирай сам, что хочешь». Я выбрал «За систематический пропуск занятий без уважительной причины». Меня было там не так много, на втором курсе в первый семестр я пропустил двести пятьдесят часов, и во втором семестре сто шестьдесят. До конца второго я не доучился, поскольку меня раньше отчислили. Это были два таких эпохальных события, которые, в общем, позволили мне сохранить свободу.

МГПИ и Институт марксизма-ленинизма

А в то же время, если бы меня не отчислили из института, то, скорее всего, по окончании я попал бы в сельскую школу, и тогда, наверное, все сложилось бы иначе. Поскольку я, спустя какое-то время, восстановился в МГПИ, причем декан сказал: «Только на вечернее, потому что больше трех раз в неделю я тебя видеть не могу». Но как-то сложилось очень удачно: я, учась на вечернем, попал на работу в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Правда, я там год проработал, потом ушел. Там все-таки обстановка была слишком строгая, партийная дисциплина и прочие вещи. Но благодаря этому я, учась на вечернем, попал в руки Геннадия Семеновича Кучеренко, который стал моим научным руководителем, и он потом меня пригласил в аспирантуру Института всеобщей истории. Благодаря этому я стал, в конечном счете, фаталистом. Все, что ни делается, все к лучшему. И, по крайней мере, на каких-то крутых перекрестках (потом мне еще попадались такие перекрестки), когда, казалось бы, все рушится, все валится, а оказывается, что это, наоборот, дорога к свободе и к жизни.

Б.П.: А вы что-то конкретное прогуливали? Как у графа Льва Николаевича Толстого было презрение к какому-то предмету?

К.А.: Понимаете, для того, чтобы прогуливать сознательно, надо знать что прогуливаешь, а когда ты даже на предмете не был, то прогуливаешь наобум Лазаря. Я старался не прогуливать военную кафедру, но тоже не удержался, а так нет, я просто прогуливал.

Б.П.: Кирилл Михайлович, по поводу вашего исторического образования и исторического предназначения. Я слышал о вашей родословной, о том, что ваш род восходит к самому Михаилу Михайловичу Щербатову, что вы — историк в четвертом поколении. Можно ли сказать, что уже в школе было понятно, что вы станете историком, что история была для вас какой-то неизбежностью?

К.А.: История была в моем окружении, поскольку, действительно, в роду все историки: и мать, и отец, и дед, и бабушка, и дальше тоже историки. Но, честно говоря, в школьные годы я как-то не очень тянулся к истории, меня привлекали другие вещи. Был бзик, как у многих в той школе, где я учился, сначала МГИМО, экономическое отделение. Но там математика, с ней я совершенно не в ладах. Потом у меня была идея пойти в рязанское училище ВДВ. Тоже, конечно, бредовая идея. Нет, я как-то не стремился к истории, хотя, в общем-то, жил в окружении недетских исторических книг.

”

Первая книга, которая зафиксирована документально на фотографии в моих руках — это «История гражданской войны», из которой я, рассматривая ее иногда, что-то вырывал по соображениям несогласия с академиком Минцем или по каким-то другим.

Надо сказать, что и мои родители не очень подталкивали меня к истории, хотя двоюродный дед был археологом, и я ездил к нему на археологические раскопки. Мать была вообще против, сказав, что историком — только через мой труп, и так уже хватает в семье историков. Но так сложилось, что я оказался на истфаке в МГПИ, хотя мои родители кончали истфак МГУ. Просто, видимо, они считали меня за полного балбеса. Я был не совсем полный балбес, слегка балбесист, и поэтому определили меня в МГПИ, там вроде полегче и конкурс, и прочее. Плюс к этому, помню, когда я пошел сдавать документы, надо было проходить медкомиссию. Я пошел с моим приятелем, мы жили рядышком (он финн по национальности), в одном доме. И когда пришли на комиссию, то немножко обалдели. Полный коридор девок, мы начали гадать, как будет проходить медосмотр. Но он проходил совсем не так, как мы надеялись. Но с учетом того, что МГПИ назывался по-другому «женский монастырь» или «высшие женские курсы», то, в общем, оказалось там нормально. Родители были против, но так вот случилось.



Москва, 1953 г.

Б.П.: Все-таки фатализм, никуда не денешься?

К.А.: Да, никуда не денешься. Видимо, семейные традиции, легенды или не знаю что, какое-нибудь провидение божье привело на истфак. Хотя честно могу сказать, что на вечернем мне было легче, не потому что там программа другая, нет, те же самые преподаватели, все тоже самое, но чувствовал себя не школяром, а человеком, который что-то зарабатывает. Тем более что мне повезло, потому что после года в Центральном партийном архиве я сам перешел в Институт марксизма-ленинизма

на работу, достаточно интересную, в сектор произведений Маркса-Энгельса, который готовил собрание сочинений Маркса-Энгельса на английском языке. Я был помощником подготовителя, готовил географические, предметные, биографические указатели, и прочее, и прочее. И я был вынужден читать довольно много. Плюс к этому такая вспомогательная работа подготовителя, равно, как и работа в архиве, повлияла на меня, я стал несколько другим.

” Понимаете, когда вы читаете в книге письмо того же Ленина — это одно, а когда вы держите в руках оригинал — другое. Год в архиве, где я работал среди документов, заставил меня проникнуться каким-то чутьем или тягой к прошлому, что потом подкрепилось работой над собранием сочинений Маркса-Энгельса. И вкус пришел постепенно.

Б.П.: Это тот же архив, тот же сектор, в котором Георгий Александрович Багатурия работал?

К.А.: Да, мы сидели в соседних комнатах. Только он занимался (*неразб.*), а я работал в группе английского издания. Естественно, и он был помоложе, и я был тогда с волосами и какое-то время даже без бороды. Правда, потом отрастил бороду, побывав в альплагере, но это уже было к концу моего учения в МГПИ. В общем-то, борода меня сподвигла на то, чтобы принять предложение Кучеренко и уйти в Институт всеобщей истории. Можно было оставаться в ИМЛе, и, в общем-то, отец мой тоже был за то, чтобы я остался, поскольку неплохой кусок хлеба, престижное заведение. К тому же они открывали тогда аспирантуру, можно было оставаться там в аспирантуре, но, слава богу, глупость одной старой большевички сподвигла меня на то, что я все-таки с удовольствием принял предложение уйти в Институт всеобщей истории.

Я приехал с бородой после альплagerя, а там территория большая, бывшее здание Коминтерна, потом там СМЕРШ располагался.

” Иду по их внутреннему садику, и идет одна дама из старых большевиков: «Что это у вас на лице какая-то мелкобуржуазная поросьль?» Я говорю: «Какая же она мелкобуржуазная, все классики были с бородами?» Она побежала в партком и говорит: «Андерсон себя с классиками сравнивает». Ну, я понял, что надо уходить.

Хотя, надо сказать, что сектор, в который я попал, Маркса, он был особым сектором в Институте марксизма-ленинизма. Все-таки он считался идеологическим бастионом партии, там было очень много бывших партийных работников, старых большевиков и всего прочего. Но больше всего беспартийных сотрудников было именно в секторе Маркса, потому что всерьез заниматься Марксом... (в отличие от истории КПСС и в отличие от научного коммунизма, где была идеология научного коммунизма), чтобы заниматься Марксом, надо было что-то знать. По крайней мере немецкий, помимо русского, другие языки, потом немножко разбираться в политэкономии, философии и в истории. Поэтому там закрывали глаза на то, что многие сотрудники в секторе Маркса беспартийные. В частности, там была такая очаровательная дама (рост так под сто девяносто) Ирина Алексеевна Бах, дочка академика Баха — народовольца и прочее. Удивительная тетка была, симпатичная. То есть когда я уже окунулся и полностью приобщился к этому ремеслу не как к учебному предмету...

Б.П.: Уже стало интересно.

К.А.: ...стало интереснее, хотя по-настоящему я ощутил себя на своем месте спустя довольно много лет. Но мне повезло, потому что когда я попал в Институт всеобщей истории, там были еще живы мастодонты исторической науки, тот же самый Манфред, тот же самый Вебер, Нарочницкий. В общем, элита.

И общение с ними, конечно, давало очень много. На заседаниях сектора, ученого совета, на докладах я узнал, может быть, больше, чем за все время обучения в институте. Я попал в сектор, который был основан Волгиным. Назывался он «сектор истории общественной мысли». После Волгина этот сектор возглавлял Поршневу Борис Федорович. Фантастическая личность, доктор философских, доктор исторических наук, специалист по разным вещам, писал и про первобытную психологию, и возродил социальную психологию, возродил историческую психологию.

Б.П.: Но он чуть ли не историю социально-политических учений, социалистических, развивал.

Институт всеобщей истории

К.А.: Да, он развивал это, продолжил выпускать ежегодника «История социалистических учений», который начал Волгин, потом продолжал он, плюс к этому у него книга о Мелье. По его книге «Народное движение времен Фронды» до сих пор учатся в Сорбонне, она признана учебным пособием, хотя советский исследователь. Очень интересный человек. Я с ним пообщался, поскольку как раз поступал, когда он еще был заведующим отделом. Представьте себе, такой довольно тучный, лысый. Сценка в кабинете заведующего: приходит парень, мой однокурсник, который работает там курьером в экспедиции, садится в кресло Бориса Федоровича. Входит Борис Федорович, а этот мой приятель Женя: «А, Борис Федорович! Знаете, давно хотел вас спросить: вот прочел тут одну вашу статью, что-то она у меня какие-то сомнения вызывает...» И Поршневу садится напротив на маленькую табуреточку и на полном серьезе минут сорок объясняет ему, что он хотел сказать, что он сказал, какие там идеи и прочее. Не помню, по-моему, это даже было связано с йети, потому что он искал промежуточное звено между неандертальцем и сапиенсом и увлекался историей снежного человека. Но суть не в этом.

” Когда, скажем, выступал какой-нибудь маститый ученый, лучше всего доктор наук, еще лучше членкор, а совсем замечательно академик, и входил Борис Федорович, то академики бледнели, потому что академиком он размазывал совершенно беспощадным образом.

Знакомство с ним было, к сожалению, очень краткое, мы с ним беседовали, общались, я поступил, но он вскоре умер, потому что его книгу «О начале человеческой истории», где он усомнился в правоте Энгельса...

Б.П.: «Происхождение семьи...»?

К.А.: «Труд превратил обезьяну в человека». И Борис Федорович, как человек пытливый (а молодым ученым он всегда говорил: «Наука начинается с нескромности»), усомнился: «А с какого переляку обезьяна начала трудиться?» Значит, все-таки сначала должен был произойти какой-то психологический сдвиг, потом уже меняется поведение. То есть вопрос: «Что первично бытие или сознание?» Ну, и книгу запретили. У него был инфаркт, он умер. Я с ним общался очень мало, но надеюсь, что перенял от него хоть что-то, а именно, никогда не чувствовать себя выше молодых сотрудников или студентов иликого-то еще.

Б.П.: А он занимался в основном чем?

К.А.: Он занимался международными отношениями, тридцатилетней войной, он занимался первобытной психологией, исторической психологией.

Б.П.: То есть был очень широкий в своих начинаниях?

К.А.: Он был очень широких начинаний и вообще-то поощрял всегда какую-то смену диспозиций, смену поля, потому что, действительно, когда ты работаешь на одной грядке, то глаз замыливается, и ты

перестаешь ее воспринимать. А когда перешел на чужую грядку, а потом возвращаешься на свою, то на нее немножко по-новому смотришь. Плюс к этому он был, конечно, человек очень непростой, ершистый, несколько раз баллотировался в академики, и хотя он явно заслуживал, но не прошел по причине своего характера. Кстати, один из его главных оппонентов Альберт Захарович Манфред — автор знаменитого «Наполеона» (великолепная книга, я бы даже сказал, такое литературно-художественное исследование), когда Поршневу умер, он написал некролог. Знаете, некрологи, как правило, бывают такими вымученными, а здесь было примерно следующее: «Мы с Борисом Федоровичем всегда были не в лучших отношениях. Мы постоянно спорили, постоянно вели дискуссию, он не всегда был прав, я не всегда был прав, но какая жалость, что у меня нет такого соперника, такого противника сейчас».

То есть это порода людей, у которых, если хотите, рыцарственное поведение. Они вступают в открытую полемику, не пишут доносы в партком, а ведут честную борьбу, они чувствуют, что равны друг другу. Когда-то я занимался боксом, и если у тебя хороший спарринг-партнер, ты растешь. Если у тебя спарринг-партнер слабенький, ты теряешь квалификацию.

” Поршневу был из тех людей, которые всегда в полемике, невзирая на лица, или даже наоборот, взирая, чем больше, тем лучше. Что-то это дало мне. Я считаю, он один из лучших людей.

Плюс к этому отдел, в который я попал, и спустя много лет, в конечном счете, стал руководителем этого отдела — «история общественной мысли». Если посмотреть на программу истории политических учений, западную, то где-то половина сносок приходится на сотрудников того отдела, где я работал. Штекли, Кучеренко, Осинковский, Володарский, Чиколони, Павлова... Ну вот, хотя бы то, что тот же самый Штекли, которого я считаю своим учителем (Кучеренко и Штекли, Штекли с точки зрения литературной как-то ближе мне), у него было пять или шесть книг ЖЗЛ. У Павловой было две книги.

Б.П.: А какими авторами они занимались?

К.А.: У Штекли были книги: Кампанелла, Джордано Бруно, Галилей, Мюнцер. Здесь тоже любопытная вещь. Историк выбирает тот сюжет (если это не заказная работа), который ему ближе и через который он может передать то, что у него наболело, накопело. Поэтому историки взрослеют довольно поздно. Если в двадцать пять лет ты в математике ничего не сделал, то уже ничего не сделаешь, а для историка расцвет — это тридцать пять, сорок лет, когда есть какой-то жизненный опыт, когда уже есть, что сказать.

” История — это материал, как для скульптора глина и мрамор. Сами исторические события — материал для историка, чтобы передать то, что он хочет.

Так вот, Штекли провел в песчаных лагерях в Казахстане где-то лет десять. И все его герои: Мюнцер, Джордано Бруно, Галилей, Кампанелла — они все... то есть то, что у него за это время накопилось и то, что он хотел сказать, он сказал через историю своих героев. То же самое, Манфред не случайно обращался к Руссо, к Дантону, Наполеону, потому что в его работах, особенно в «Наполеоне»... Еще есть его замечательная работа, последняя, «Три портрета времен Французской революции», где он дал полную волю своему перу. А стилистом он был великолепным, так же, как и Штекли. Блестящий стилист русского языка. И, смею надеяться, что чему-то я у него научился, потому что у него было хорошее правило: когда он читал чью-то статью (в частности, мои работы какие-то), он не просто, как некоторые делают, пишут «стиль» или вопросительный знак. А он всегда предлагал свои варианты, на что можно заменить, как можно сделать. У Манфреда тоже было... это какая-то передача...

Б.П.: Кирилл Михайлович, тогда в связи с этим вопрос: когда вы начали утопизмом заниматься?

К.А.: Утопизмом я начал заниматься по принуждению.

Б.П.: То есть нельзя сказать, что это была та тема, через которую вы хотели свои мысли высказать?

К.А.: Нет. Получилось так. Когда я заканчивал МГПИ, уже вечернее, за мной носился декан, просил пересдать меня историю педагогики, чтобы я получил диплом с отличием, я возмущенно отказался.



Студент. 1966 г.

Б.П.: *(смеется)* То есть сначала он вас выгонял, а потом хотел, чтобы вы получили диплом с отличием?

К.А.: Он, в общем-то, был справедливым. Двести пятьдесят часов без уважительной причины — это многовато. Когда я сдавал сессию за третий, кажется, семестр, прихожу, а на занятиях я не был. Он говорит: «Вы не сдадите». Я говорю: «Попробую». Прихожу, сдаю, и попался на таком предмете как средние века. У нас читал лекции профессор Семенов, мы по его учебнику и учились, а вела семинары такая Кириллова, уже в возрасте дама, суровая. Прихожу на консультацию, она говорит: «Что-то я вас как-то не видела. — А я вас видел где-то в коридорах. — Приходите, но даже если будете семи пядей во лбу, вы не сдадите». Пришел, и по закону подлости, мне попался вопрос, которого, как мне сказали, не будет. Что-то про Болгарию в средние века. Естественно, какая там Болгария...

Я получил свои два балла, это только усугубило мое положение. Кстати, когда я уже восстановился на вечернем, то восстановился на второй курс, и у меня за третий семестр были сданы все предметы кроме средних веков. Но я исправно ходил на семинары, правда, вела уже другая, Кириллова читала лекции. И когда я пришел сдавать, а прошло уже время (когда читаешь лекции, не запоминаешь людей), я понял потом, что это недостаток высокого роста. Но она меня заметила: «Андерсон, вы пойдете ко мне». Я хотел к семинаристке идти, с которой у меня были хорошие отношения и прочее, но «Нет, вы пойдете ко мне». У нее была привычка: отвечаешь на вопросы, а потом она берет, не глядя: «А вот еще расскажите это». Мы с ней беседовали минут сорок — пятьдесят приблизительно. Поставила в результате мне пять баллов. И потом она часто появлялась у нас в отделе в Институте всеобщей истории по своим делам. У нас с ней были прекрасные отношения, и, в общем-то, я ей благодарен за то, что она мне поставила два балла и что

я вовремя вылетел с дневного отделения, потому что было бы все по-другому.

Что касается отдела и утопизма, то когда я уже кончал, у меня было два предложения. Одно предложение было пойти на кафедру истории СССР. У нас была немного другая система, нам надо было писать одну курсовую по СССР, вторую по всеобщей истории. По СССР я написал работу на основе тех документов, которые обрабатывал в архиве. А это было не что иное, как «История концессии Хаммера», небезызвестного. И когда я принес научному руководителю (он жив еще до сих пор, Шагин Эрнст Михайлович) курсовую, он посмотрел, на каких источниках... представляете, Центральный партийный архив. Туда близко не подпускают, а я приношу курсовую, написанную на основе этих вещей. Он говорит: «Всё, давайте в аспирантуру!»

А второе предложение было от Кучеренко. Он тащил меня на Оуэна, которого я мало знал и который был для меня не очень привлекательным, потому что меня, честно говоря, больше тянуло в какую-нибудь американистику, куда-то туда. Европой как-то не хотелось заниматься. Но потом, когда я доделывал, по просьбе Шагина, статью по концессиям и по Хаммеру, сунулся в два архива, где эти вещи были. Причем, прихожу в архив: «У вас должно быть то-то и то-то. — У нас этого нет. — Вы знаете, я — сотрудник такого-то архива (Центрального партийного), у нас есть копия, а оригиналы у вас». Но чтобы получить эти документы, нужна санкция Министерства внешней торговли и Министерства иностранных дел, в общем, кранты.

Я понял, что заниматься темой очень интересно, она мне очень нравилась («Иностранная концессия периода НЭПа»), но, учитывая, что будет очень много препятствий и будут мешать, я согласился и пошел туда. Кучеренко предложил мне тему, сам ее сформулировал, тема звучала зубодробительно: «Оуэнизм и формирование идеологии британского кооперативного движения первой половины XIX века». Что-нибудь более зубодробительное придумать довольно сложно, и я сначала отнесся ко всему этому с большой неохотой. Но мне повезло, потому что тогда в отделе еще работал Библер Владимир Соломонович, тоже известный историк, там были люди творческие, думающие. И, в общем-то, был вариант, что они могут тебя распрячь и показать, кто ты такой и где твое место под плинтусом, но мне повезло, что там были нормальные люди и профессионалы. Потом я уже убедился, когда стал профессионалом (прошло, правда, много лет, прежде чем я им стал), у профессионалов, по крайней мере у историков, нет поводов для соперничества. Потому что, в принципе, если один пейзаж, один ландшафт, посадите десяток хороших художников, вы получите десять разных пейзажей. Если человек не уверен в себе, он будет других отпихивать и говорить: «Не тронь, это мой пейзаж, я его сам окончу, больше сюда не лезь». Нет какой-то зависти, потому что у каждого есть свой стиль, у каждого есть свой слог, у каждого есть своя манера. А поначалу я относился к этому, во-первых, почти как школяр, во-вторых, как сотрудник Института марксизма-ленинизма, где какие-то стилистические вольности не приветствовались. Надо было говорить кондовым языком, например, языком как в словаре Остапа Бендера для журналистов.

” Можно было посадить десяток историков КПСС и получить десять одинаковых произведений. И я, в общем, в таком духе и сделал первый свой опус.

Мне надо было сдавать экзамен, а до экзамена надо было делать реферат.

Б.П.: Это был кандидатский экзамен? Вы готовились к защите?

К.А.: Да, вступительный я сдал, все было благополучно. Причем, мне опять-таки повезло, один вопрос был по новому курсу Рузвельта, а среди комиссии был Мальков, у него как раз незадолго до этого вышла книга по курсу Рузвельта, я ее прочел и ему все честно рассказал.

Б.П.: То есть он рыдал.

К.А.: Да, он рыдал. Потом у меня с ним были очень хорошие отношения, такими они у нас и остались.

А система была такая: отдел утверждал два вопроса и тему реферата. Один вопрос должен был быть по новейшей, один — по новой истории. Это было где-то за полгода до экзамена. Я думал: «Господи, какая лафа, тебе дают билет, чтобы подготовиться за полгода!» Потом выяснилось, что это, может быть, более правильная система, чем та, которая сейчас у нас применяется, потому что от тебя требовали все: источниковедение, историографию, твои собственные соображения. По сути дела, надо было не просто выучить, надо было самому проанализировать, самому влезть в тему. Вот тогда ты видишь, на что способен человек, на что не способен, потому что любой экзамен — это лотерея: повезет, не повезет. А здесь уже всё — смог сделать, значит, показал себя.

Реферат, соответственно, то же самое. А реферат я сделал в духе классической ортодоксальной историографии. У меня были Маркс, Энгельс, Роберт Оуэн и оуэнизм. Я сделал нарезочку из цитаток, накромсал, нафаршировал текстик этими нарезочками, перебивая легкими междометиями. Ну, и меня раздолбали в пух и прах. Причем объяснили: «Ты, вроде бы, нормальный человек, по-русски говоришь достаточно грамотно, какого черта ты пишешь дубовым, кондовым языком?» Плюс к этому, Библер мне сказал такую вещь, которую я своим студентам иногда повторяю:

«Название статьи не означает проблему, если нет вопроса, нет ответа». То есть любая статья должна содержать какую-то интригу, которую вы пытаетесь разрешить, какое-то противоречие, которое вы пытаетесь разрешить.

Потому что если это просто нарратив, то это песня акына: «Вот идет верблюд, вот идет второй верблюд», а дальше ничего. То есть нет вопроса, нет ответа. За это я благодарен Владимиру Соломоновичу Библеру, потому что он подсказал мне, как надо смотреть на вещи.

Б.П.: Как же звучала ваша тема с интригой?

К.А.: Тема-то осталась той же самой, но когда после этого кондового реферата, который мне раздолбали, я принес первую статью для ежегодника «История социалистических учений» (она называлась «Беседа Роберта Саути» и начиналась с явления призрака поэту Роберту Саути), мои коллеги по отделу крякнули и сказали: «Ну, вообще, уместно». Заставочка, а потом переход к сюжету. Это у меня вошло в привычку, и, честно говоря, я стараюсь, чтобы первая фраза, первый абзац был несколько, не эпатажным, но по крайней мере привлекающим внимание. Когда начинается с каких-то скучных вещей, то, в общем-то, посмотрев на первую страницу, читать не хочется. А когда ты обнаруживаешь что-то неожиданное, скажем, у меня одна статья начиналась с собрания в таверне лондонского Сити и т.д. То есть это мне помогло, потому что, действительно, были люди очень профессиональные, очень доброжелательные. И так получилось, что спустя энное количество лет я стал заведующим этим отделом и оставался им до... Причем, менялось название: «История социальной мысли», «История общественной мысли и социальных движений», но суть не менялась.

Б.П.: Но вы же под знаменами Оуэна остались до сих пор. Вы говорили о том, что это не меняет...

К.А.: Это не меняло тему диссертации.

Б.П.: Нет-нет, я другое хочу спросить: за сорок лет или сколько вы занимались этими вещами...

К.А.: Я занимался не только этим...

Б.П.: Все равно, можно ли сказать, что за это время вы стали утопистом? Или остались прагматиком?

К.А.: Вы знаете, нет. Во-первых, нормальный утопист — это крутой прагматик; во-вторых, конечно, занятие утопией...



Знаете, когда я уже был директором архива, у меня спрашивали: «Какая ваша специальность?» Я говорил: «Специалист по утопии. Самая актуальная тема для нашей страны в любое время года и в любые года».

Нет, утопистом я не стал, но утопия как предмет для изучения — да. Плюс к этому занятие историческими утопиями позволяет выявить их родовые черты в современных проектах, программах и прочее. То есть, конечно, это позволяет анализировать. А что касается Оуэна, то поначалу как-то не складывались у меня с ним отношения, потому что, в отличие от сумасшедшего Фурье, от безумного Сен-Симона (гениально безумного и гениально сумасшедшего), Оуэн как-то очень прямолинеен, очень скучен и очень пресен.

Б.П.: Вы не находили в нем каких-то творческих вещей?

К.А.: Да, я не находил в нем изюминки. Философия самая примитивная: человек — продукт обстоятельств, ничего нового. Сам он — просто ходячая икона: добродетельный, доброжелательный, энергичный, предприниматель и прочее. Но как-то очень все пресно. И пока я не нашел своего видения, своего Оуэна, в общем-то, я им тяготился. А когда нашел, стало все гораздо интереснее, потому что, скажем так, появился мой Оуэн, который кому-то понравится меньше, чем Оуэн других историков, но, по крайней мере, это мой, и его можно отличить от других. В этом-то смысл истории и заключается, чтобы найти свою точку зрения, создать свой портрет, свою картину. Это где-то сродни писательству, только писатель имеет больше права на домыслы, на вымыслы, на домысливание, а историк обязан опираться на те материалы, на те свидетельства и доказательства, которые есть. Без доказательств мы не можем существовать. Другое дело, что большей частью эти доказательства достаточно либеральны, их можно толковать и так, и так: стакан наполовину полон или наполовину пуст, и то и другое — правда.

Был случай, но это уже когда в архив приехали две группы одновременно, не сговариваясь, знакомиться с материалами по Нагорному Карабаху. Одна из Азербайджана, другая из Армении. Смотрели одни и те же документы. Причем, их переносили со стола на стол (сами они не очень-то общались), и в итоге мы получили от них то, что они написали на этом основании. Две совершенно разные истории. Одни и те же документы, но совершенно разные истории. Чем и хороша история, сколько профессионалов, столько и взглядов, и каждый имеет право на то, чтобы свое создать. Поэтому даже если один и тот же сюжет, это не значит, что история исчерпана.



Скажем, если брать русскую историографию, замечательный Наполеон Мережковского, который совершенно не похож на Наполеона Тарле, а Наполеон Манфреда не похож на Наполеона Тарле и не похож на Наполеона Мережковского. Три разных портрета. И история это допускает. Она оставляет свободу.

Б.П.: Есть среди историков такая точка зрения, что сама история, когда ее пишешь, не должна быть чем-то объективным. Она вообще не для этого создается, она должна быть каким-то красивым мифом, который имеет целью воспитание нации... То есть история ставит перед собой какие-то другие цели, нежели объективное описание действительности? Вы с этим не согласны?

К.А.: Я частично, может быть, согласен, потому что, помимо возможности выражения своего видения (что ближе к художественному: каждый художник видит по-своему), есть еще и разные приложения своего ремесла. Мне было всегда интересно (из-за этого я вляпывался в истории) пробовать себя в разных проявлениях. Есть вещи, которые я делал и которые можно назвать чисто академическими, хотя даже в академических вещах я всегда старался писать литературно, потому что язык — это тоже орудие ремесла. В конце концов, ни один человек на этом свете не обязан читать тебя. Если ты хочешь, чтобы

тебя прочли, пиши так, чтобы тебя читали. Я писал для детской литературы, в основном, предисловия. Это другой стиль, другое предназначение. Честно могу сказать, что недавно попала мне пара моих книжек, которые где-то валялись. По-моему, «Сэр Найджел» Конан Дойла, Вальтер Скотт «Талисман», «История Англии для детей» Диккенса... я для них писал предисловия. А, кстати, верх нахальства, я писал предисловие к Библии для детей. Тогда издательство детской литературы выпустило...

Б.П.: *(смеется)* С ума сойти! То есть это то, что выпускалось в 90-е годы, серия красненьких книжечек?

К.А.: Нет, она была большого формата с иллюстрациями Доре.


Б.П.: Первый класс! Расскажите, что вы написали в предисловии к Библии?

К.А.: Ее надо было назвать «Библейские легенды», потому что Библией нельзя было называть. Я написал что-то, и, честно говоря, по моим собственным ощущениям, это было ближе, наверно, к какой-то проповеди. Причем, я работал себе в ущерб. Можно было писать предисловие до одного авторского листа, мое предисловие максимум шесть — семь страниц, потому что я считаю, предисловие не должно превышать... Оно должно камертончиком задать какой-то тон, а дальше уже все идет. Скажем, тоже, как разные применения, когда на телевидение, на радио приглашали, я делал что-то. Это разные приложения, мне было интересно. Я, собственно говоря, и в архив-то пошел во второй раз, сначала в качестве зама, а потом директора, потому что мне было просто любопытно. У меня был опыт менеджмента на уровне отдела, это, примерно, то же самое, что заведующий кафедрой в академическом институте. Мне было интересно попробовать себя в другом амплуа, но, опять-таки, связанном с этим ремеслом.

То есть любое ремесло, а ремесло историка тем более — оно самое разнообразное: преподавание, какая-то популяризация, телевидение... В общем-то, я в МГУ с 81-го года, и несмотря на то, что менялись обстоятельства моей жизни, я все-таки сохранял связь с университетом, потому что преподавание — это одна из наиболее живых, приятных, большей частью, и полезных форм применения ремесла историка. Это заставляет тебя держать форму, ты видишь реакцию, тебя заставляют держать тонус, следить за новинками, и прочее, и прочее. Потом ты вынужден уходить со своего поля, потому что если бы я занимался... как один товарищ, который был у нас и всю жизнь занимался союзом коммунистов. Он выпустил восемь книг под разными названиями, но там было одно и то же, одна тема. И таких людей много.

Б.П.: Есть такое выражение у Бердяева: мономыслитель.

К.А.: Да, мономыслитель. Такие есть, им проще.

 Знаете, есть люди, которые рождены быть водителями трамвая, и без этих рельсов, которые их везут, они никуда не денутся. А есть прирожденные таксисты, которым туда-сюда, все равно какая обстановка. Это зависит от человека.

Но я старался найти и пробовать все возможные применения своего ремесла.

Б.П.: Да, предисловие к Библии это, конечно, сильно!

К.А.: Это верх наглости.

Б.П.: Я прошу прощения, мы чуть позже перейдем к университету, я хотел еще вас спросить. Вы сказали о Конан Дойле и о Диккенсе. Можно ли сказать, что были какие-то книжки, которые формировали ваше мировоззрение и изменили вашу жизнь?

К.А.: Не знаю, не могу сказать.

Б.П.: Или какие-нибудь герои художественных произведений?

К.А.: В общем-то, в детстве, я, конечно, увлекался, деваться было некуда, поскольку кругом одни историки, куда не плюнь. Я увлекался какими-то историческими романами, мне это было интересно. Того же Яна, Вальтера Скотта, все эти вещи. Знаете, я не могу сказать, что есть какой-то один персонаж или одна книга, которая произвела на меня благотворное впечатление. В Библии есть хорошая фраза из послания Павла к Коринфянам: «Что ты имеешь, что мог бы назвать своим». Действительно, все, что в тебе есть, ты получаешь либо от природы, либо от родителей, либо от людей, с которыми, может быть, ты больше никогда и не встретишься.

” Вы едете в метро, какая-то фраза до вас долетела, вы не знаете этого человека, но она где-то в вас осела, она осталась с вами. Кто набивает твою кладовую? Мы идем, а за нами сеть тянется, в которую попадаетесь самое разное, и мы сами не замечаем, откуда это берется.

Поэтому есть писатели, есть историки, перед которыми я преклоняюсь как перед мастерами, которыми хорошо восхищаюсь и, может быть, слегка завидую их литературным талантам.

Б.П.: Например?

К.А.: Например, Штекли, Манфред, Трухановский блестяще писал. У него замечательные биографии того же Черчилля, Идена. Давидсон Аполлон Борисович, специалист-африканист, и у него блестящие книги по Гумилеву и его африканским мотивам. Причем, это написано на уровне хорошей литературы, с хорошими образами. Есть люди, которыми я восхищаюсь, и их немало. Штекли был блестящим стилистом русского языка, несмотря на то, что он — Альфред Энгельбертович Штекли. Даже, честно говоря, какие-то конкретные приемы редактирования... он приучал меня и приучил заниматься саморедактированием. Это самое сложное — редактировать самого себя, это очень тяжело.

Б.П.: Особенно сокращать.

К.А.: Да, особенно сокращать. Но он мне показал, скажем, на странице не может быть больше трех «что». Если какой-то термин, «трансцендентный», «имманентный», неважно, трудно произносимый, если речь идет о какой-то небольшой статье, то его нельзя употреблять больше, чем один раз, потому что он тяжелый, он убивает. То есть какие-то практические вещи... А остальное, так сказать, от Бога.



Первый год работы в ЦПА, 1968 г.

О романтической атмосфере 60-х

Б.П.: Я хотел еще спросить по поводу вашей университетской жизни. Вы учились в конце 60-х годов...

К.А.: Я учился не в университете.

Б.П.: Да, в институте...

К.А.: Я учился на «высших женских курсах», чем горжусь.

Б.П.: Вот об этом я и хотел вас спросить. В конце 60-х годов какая-то удивительная атмосфера складывалась в обществе. По крайней мере, сейчас мы это воспринимаем как какую-то невероятную романтическую атмосферу, и в вашем институте это каким-то образом аккумулировалось. Всякие барды... вот как это?

К.А.: Действительно, мне повезло, я поступил в МГПИ в 66-м году, когда еще оставались следы Визбора, Якушевой, Кима, Фоменко (Петр Фоменко учился тоже в МГПИ). Как раз все эти КСП (Клубы самодеятельной песни), я еще застал эту атмосферу. И я рад тому, что не поступал в МГУ (я и не пытался, честно говоря), а поступил в МГПИ. В ту пору МГУ был более идеологизированный, здесь был более жесткий идеологический контроль, а к нам в МГПИ порой отправляли диссидентствующих людей. Скажем, у нас преподавали такие люди, как Молок, специалист по Парижской коммуне, забавный был человек, Бурджалов, тоже был интереснейший человек, специалист по Октябрьской революции, которому не давали преподавать дальше феодализма. Но по уровню он не уступал Минцу. Кобрин совершенно блестяще преподавал археологию. Там была более вольная атмосфера.

Б.П.: Это вы говорите о преподавателях и какой-то интеллектуальной атмосфере, а атмосфера

романтическая?

К.А.: А из-за чего я вылетел? (*Смеются*) Я слишком увлекся романтикой.

Б.П.: Барды, которые выходили из института, может быть, они и брали гитару в руки, потому что там было много девушек вокруг? Или какие-то другие причины?

К.А.: Нет, я думаю, что эта пара «физики-лирики» больше в пользу лириков, плюс к этому, была очень хорошая атмосфера на факультете. Очень хорошая. Повторяю, она была не такая натужная как в МГУ, где контроль был жестче. «Здесь педагоги, ну что с них взять, отправить в деревню, и все про них забудут». «В деревню, к тетке, в глушь в Саратов». Это был какой-то всплеск, но я, правда, застал уже конец этого действия. Хотя позже меня (я окончил в 73-м, поскольку проучился больше, чем положено из-за, так сказать, вынужденного расставания), где-то в начале перестройки на истфаке МГПИ возникло такое сообщество, называлось оно «Община». Сначала это был дискуссионный кружок, который занимался историей русской общественной мысли, в основном XIX века.

Б.П.: Община в смысле народничества?

К.А.: Да. Среди деятелей этого направления большинство в ту пору тяготело к анархизму. И, в общем-то, два человека из этой «Общины» стали основателями конфедерации анархо-синдикалистов России времен перестройки. Это Станкевич, небезызвестный, заместитель Гавриила Попова, потом он был вынужден эмигрировать, потом вернулся, сейчас где-то...

Б.П.: Заместителем, когда Попов мэром был?

К.А.: Да. Ему предъявили обвинение во взятке, по-моему, в две тысячи рублей, в те времена это была колоссальная сумма. Потом Шубин Александр. Сейчас он автор, не знаю, какого количества толстенных фундаментальных работ по истории анархизма. Он также главный редактор журнала «Солидарность». И был еще один: Исаев, нынешний единоросс, а начинал он как анархист.

Б.П.: А, Исаев, который недавно был прищучен?

К.А.: Да, его прищучили каким-то образом... Исаев был директором, они создали школу по образцу бакунинских заветов и кропоткинских заветов. Они на родине Бакунина устраивали конференции. То есть Исаев начинал как анархист, а кончил как единоросс, или еще не кончил.

Б.П.: А вы как-то примыкали к этому обществу, симпатизировали анархическим идеям?

К.А.: Анархистам я симпатизирую, потому что я — человек немного свободолюбивый.

Б.П.: То есть свободу вы понимаете тоже не как либерализм, а как анархизм?

К.А.: Это было уже после того, как я окончил МГПИ, но, тем не менее, какие-то традиции из 60-х перекочевали в 80-е годы, в другой форме... Хотя КСПшная деятельность, по-моему, велась и позже.

О преподавании в МГУ

Б.П.: Прекрасно! А как вы попали в МГУ?

К.А.: По случайности. Я говорю, что на собственном опыте прихожу к выводу, что фатализм — это самое правильное. Все, что ни делается, все к лучшему, и иногда бывают какие-то случайности. Значит, когда стал заведующим кафедрой Николай Иванович Бочкарев, на кафедре было не так много людей, и были проблемы с преподаванием и вообще. Как человек умный (а он человек практического склада), зная, что есть сектор истории общественной мысли и социальных движений, который находится в Институте всеобщей истории, он решил наладить сотрудничество. Было решено провести совместное заседание с сектором. По-моему, тогда Геннадий Семенович Кучеренко возглавлял его. И пришла в гости кафедра, к нам туда, на Дмитрия Ульянова. Замечательное здание на Дмитрия Ульянова, 19. Там было четыре

гуманитарных института: История СССР, Археология, Этнография, Всеобщая история, и Отделение истории там же располагалось.



Здание примечательно тем, что оно строилось как виварий для экспериментальных собачек, мышек и прочих. Но, правда, скоро выяснилось, что там с вентиляцией что-то не так: мышцыдохнут, собаки тоже, поэтому решили поселить туда гуманитариев.

Б.П.: *(Смеется)* эти живучие.

К.А.: Живучие, да. У нас была такая довольно маленькая комнатуха... Пришла кафедра, а нашей лаборантке (она была родом из Астрахани) накануне прислали лещей и воблу астраханскую. Ну, поскольку у нас тогда были простые... в отделе, под воблу мы, тут же спустившись в буфет, взяли пива, Бочкарев и кафедра немножечко сомлели от такого, но не отказались. И тогда у Бочкарева (он, собственно, с этим и шел) возникла идея или просьба кого-нибудь делегировать, чтобы прикрыть западное направление, западный фронт. Конечно, он хотел получить Штекли, потому что это, все-таки, доктор наук и блестящий оратор, правда, никогда не любивший читать лекции, но хорошо пишущий, знающий, толковый. Но в результате, я уж не помню, бутылку крутили или монету кидали, но в результате решили делегировать меня, и я особенно не возражал. Началось все со спецкурса, потом пошло больше, больше, больше... Хотя, честно говоря, у меня никогда не было такого желания преподавать. Многим, кто оканчивает педагогический, это свойственно.

Б.П.: То есть отвращение к преподаванию было привито еще в институте?

К.А.: В общем, как-то да. Я помню, когда проходил последнюю практику в школе рабочей молодежи, а школа была напротив американского посольства, для Москомиссионторга. Тогда Москомиссионторг — это элита, это же шмотки, ширпотреб. И когда заканчивалась практика, мне куратор практики говорит: «Вы, наверно, преподавать не пойдете?» Я говорю: «Никогда!» Но ошибся, потому что мне пришлось заменять мою мать (ее перед пенсией отправили на повышение квалификации), она преподавала в библиотечном техникуме, и мне пришлось заменять ее полгода.

Б.П.: А что она преподавала?

К.А.: Историю, только историю. Это было, конечно, тоже очень симпатично, у меня там было несколько классов, в общей сложности где-то человек двести. Библиотечный техникум, одни девицы, один был мальчик, Вася Иванов, и тот негр. В принципе, я тогда отработал полгода, подменяя мать, но как-то сказать, что у меня возникло желание преподавать... даже в библиотечном техникуме, где много симпатичных. Но, может быть, к этому времени я все же изменился, и если бы это пошло как-то криво, косо, я бы ушел. Но меня привлекли две вещи: во-первых, Бочкарев дал полную свободу, и я сам составлял программу и сам читал. Это тот уровень свободы, о котором может только мечтать преподаватель.

Б.П.: А как назывался ваш курс, и вообще, было два курса на кафедре истории социалистических учений?

К.А.: Нет, там просто шли лекции отдельно по Западу, отдельно по России.

Б.П.: Все-таки было разделение, как сейчас?

К.А.: Да, было. Начинал-то я со спецкурса: один спецкурс был по анархизму, второй спецкурс я читал, спецсеминар точнее, — предметы в утопиях. То есть какие вещи упоминаются, почему, что стоит за этим...

Б.П.: Интересный очень спецкурс. Замечательный.

К.А.: Да, потому что когда упоминаются те или иные предметы, за этим всегда что-то стоит, значит, он хочет сказать, что стоит за этим.

Б.П.: А какой предмет чаще всего упоминается?

К.А.: Я сейчас не могу сказать, но из тех, что мы разбирали, там часто упоминалась посуда. Причем, подчеркивается, что глиняная.

Б.П.: А как вы это объясняли? Какая рабочая гипотеза?

К.А.: Ну, скажем, ясно, что когда упоминается глиняная посуда, это как бы подчеркивает бедность, пределы разумных желаний. Потому что основная идея в западных утопиях, что человек имеет слишком амбициозные желания. И если избавиться от роскоши, то высвобождается огромное количество труда, которое можно направить на удовлетворение потребностей, достаточных для всех. И здесь глиняная посуда как признак не аскетизма, но разумных потребностей, потому что, в конце концов, если я ем икру, то мне все равно, есть ее из фарфоровой миски или из глиняной. Глиняная, может быть, даже лучше, туда можно больше положить.

Сначала я читал отдельные лекции, а потом оказалось, что на кафедре я был единственный западник, по-моему, и потихонечку большая часть Запада перешла ко мне. К марксизму я никогда не подходил, и марксизм не переходил.

Б.П.: Ну да, там были свои...

К.А.: Да, там был Железняк, который читал марксизм... Как-то так само собой сложилось.

Б.П.: Кирилл Михайлович, извините мою неосведомленность, ведь вы в 81-м пришли, а кафедра была почти на десять лет раньше создана.

К.А.: Там Белов был.

Б.П.: Да, Белов, но он не очень долго был, потом Бочкарев его сменил. А курс по Западу читал Белов или кто-то другой? Кто до вас этим занимался?

К.А.: Там, по-моему, кому поручили, тот и читал.

Б.П.: Основного лектора не было?

К.А.: Не было. А потом, когда я пошел на основной курс, то там одно время немного читал какие-то отдельные темы Дегтярев, знаете его, Самсонова Татьяна. Она, по-моему, на социологии сейчас. Она была моей напарницей, потом ее сменил Леша Зоткин.

Б.П.: Она приходила на какой-то юбилей кафедры, такая небольшая старушка, по-моему...

К.А.: Ну, старушка... женщины, особенно в политологии, никогда не бывают старушками. Вечно молодые.

Б.П.: Да, да, простите. А курс постепенно как-то разрастался, становился больше по семестрам?

К.А.: Он становился то больше, то меньше.

Б.П.: А какие он темы включал, его можно сравнить с сегодняшним курсом вообще?

К.А.: Он был больше подверстан, скажем, под историю домарксистских учений. В какой-то степени это был волгинский вариант, потому что Волгин сделал несколько очень хороших вещей: во-первых, он выделил историю общественной мысли (пускай домарксистской, а не марксистской) в отдельное направление, и это действительно отдельное направление. Собственно, одно направление в истории отличается от другого только источниками, какими источниками вы пользуетесь. Если вы пользуетесь определенными источниками, то это требует определенной методики, определенной техники работы с этими источниками. Скажем, для истории общественной мысли это авторские тексты, пресса, публицистика, художественная литература. Тот же самый Томас Мор, его «Утопия» — художественная литература. Это иконография.



В качестве примера, в XVIII веке меняется структура парадного портрета: если в XVI, в XVII веке государственный деятель — это воин в доспехах, в шлеме, с мечом, то в XVIII веке даже воин в латах стоит на фоне глобуса или карты, на фоне библиотеки, то есть сопричастность к науке, к просвещению.

Или обязательно перо, или, даже в шлафроке, в колпаке, сидит за письменным столом и что-то пишет. Эти вещи — тоже источник, который требует определенных навыков.

То, что Волгин выделил, он, правда, выделял на скорую руку. Плюс к этому, я думаю, из политических соображений, он следовал высказыванию Энгельса, наверное, неосознанно. У Энгельса есть такая фраза «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны». То же самое здесь: есть марксизм, мы берем его и прикладываем к тому, что было до. Если это попадает (по собственности, по чему-то еще), значит, это предшественник. Если больше десяти процентов попадает, а остальное нет, значит, это где-то близко, но не предшественник. Таким образом он формировал перечень предшественников.

Это, правда, началось с Каутского, Каутский, в общем-то, был предшественником Волгина и делал приблизительно то же самое. Собственно, он начинает говорить о коммунизме Платона и прочее. Здесь, среди идейных направлений существует такая же конкуренция, как среди коммерческих компаний. «Наша фирма выпускает пиво с 1810-го, а наша — с 1750-го. Мы древнее». Правда, это не значит, что пиво лучше, и тем не менее. Была такая жесткая схема, под эту схему подводился и курс, по сути дела. То есть ступеньки, предшествующие марксизму, марксизм как вершина и прочее. А ленинизм — это вообще неохватное. И весь курс строился таким образом.



Я доходил до марксизма и, собственно, на Сен-Симоне, Фурье и Оуэне я его останавливал. Причем, я старался показать их как самостоятельных людей, а не как предтечу, потому что предтеча — это что-то низкое. Тем более что, честно говоря, в таком вульгарном историзме есть некоторые каверзы и некоторые ловушки.

Мы привыкли к линейному течению времени, линейное течение можно представить так: мы идем по плоскости и идем, но в нашем представлении линейное движение — это какой-то подъем. То есть с каждым годом все светлей и радостней нам жить... соответственно, те, кто был до, они оказываются где-то там... а мы выше. Мы не дальше, мы выше. А на самом деле все эти эпохи — отдельные острова, которые связаны какими-то проливами, но это отдельные острова. Линейное восприятие, которое нам свойственно, иногда вредит пониманию общей картины развития. А Волгин выстраивает именно по принципу грубой восходящей линейности: сначала был примитивный Платон, потом пошли предшественники Маркса, тот же Томас Мор. Хотя в сочинениях Маркса и Энгельса Томас Мор упомянут один раз: «Канцлер Англии, который сказал, что овцы съели людей». И у Ленина один раз: «Как говорил Мор: “При коммунизме нужники будут делать из золота”». Все. Никаких анализов, ничего нет, абсолютно.

Б.П.: Вы говорите, что примерно такой взгляд на историю социалистических учений предложил Волгин. А можно сказать, что на других факультетах, скажем, на философском в курсе ИЗФ изучались те же тексты? Или все-таки в его концепции, которая включала не только философские и научные произведения, но еще и некие сопутствующие источники, была какая-то новизна?

К.А.: Ну, про ИЗФ я ничего не могу сказать.

Б.П.: А в принципе, в других местах...

К.А.: Нет, если брать Волгина, то по сравнению с Каутским принцип не менялся. То есть это принцип Каутского, которому нужна была длинная предыстория марксизма. Но то, что сделал Волгин — великое дело — это издание серии «Предшественники научного социализма», которая хоть так и называлась, но, тем не менее, туда попадали и те, кого к ним не относили. Те же самые Дезами, Бланки, которые были скорее противниками марксизма, чем предшественниками. Это его большая заслуга, потому что без доступности источников не может быть и истории.

Об утопиях и научном коммунизме

Б.П.: Кафедра истории социалистических учений существовала на отделении научного коммунизма, которое было создано в начале 60-х годов. Если возвращаться к вопросу об утопиях, можно ли сказать, что по большому счету научный коммунизм тоже был такой утопией? То есть Томас Мор, Оуэн и научный коммунизм, который все это должен был венчать, являются звеньями одной цепи утопий?

К.А.: Я бы не сказал, что это утопия, это, скорее, мифология, отчасти. А потом, понимаете, история имеет определенные свойства: нормальная история всегда дистанцируется от каких-то жестких идеологических, политических рамок. На кафедре (я не беру сюжеты, связанные с этапом марксистским, с ленинским этапом и прочее, это я не беру, это был уже довесок к программе) все-таки упоминали, что это стоит в том же ряду, что и Маркс, но это не означало, что надо делать упор на Маркса. История, она всегда чуть-чуть особняком. К ней может примазаться любое политическое течение, но сама она немножечко особняком.

Поэтому мне, когда я сдавал научный коммунизм (у нас был госэкзамен по научному коммунизму и, по моему, по атеизму и еще чему-то, там все в одну кучу свалили), мне, как историку, было тяжело сдавать, потому что настолько аморфные фразы, настолько расплывчатые. Когда тебя заставляют какую-то аморфную формулировку повторить в точности, а смысла в ней никакого... скажем, «Развитой социализм, это тот социализм, при котором наиболее...» — не запомнишь, потому что пустая фраза. А история конкретна. Поэтому в курсе истории политических учений и истории социалистических учений важно было показать содержание этих учений, а уж привязать к Марксу или к кому еще, это было дело второе, дело техники.

Если вы возьмете большую часть литературы 70-х, 80-х годов, вы увидите, что там для приличия многие авторы давали одну, две ссылки на Маркса, потому что, скажем, писать об античном полисе и ссылаться на Ленина как-то... А сослаться на Маркса — редактор посмотрел и все. Причем, глупость была невероятная. Помню краткий период, когда я преподавал в библиотечном техникуме, приходит на занятие методист из РАНУ, а методистами тогда, да и сейчас, становятся люди, которые сами преподавать не могут, точно так же, как в райздраве люди, которые лечить не могут, но знают лучше других, как надо лечить. А у меня была тема, связанная с наполеоновскими войнами.

И мне потом, после открытого урока, методистка говорит: «Да, все ничего, все терпимо, но почему вы не использовали материалы последнего пленума ЦК?» Я говорю: «Как-то Наполеон к последнему пленуму ЦК особого отношения не имеет». Она: «Нет, вы должны...» и начала наседать.

Правда, когда выяснилось, что я — сотрудник Института всеобщей истории, она немножко успокоилась, отвяла. Вот это было.

Сама по себе история, когда мы берем историю как историю, когда мы анализируем тексты того же Мора, того же Кампанеллы, Гегеля, кого-то еще, она нейтральна. А уж пришпандорить ее куда-то и повесить на нее ярлычок, знаете, можно и рюшечку повесить, а можно и снять, от этого суть не меняется. По-настоящему история общественной мысли — это безбрежно. В нынешнем нашем курсе мы берем то,

что связано в общественной мысли с политикой. А если взять вторую составляющую, социальную или общественную, сюда же входит масса всего, сюда входят и гендерные вещи, и литература, и искусство, и даже такая вещь, как досуг. Скажем, досуг как форма политики. Тот же парк культуры, который создавался не как место отдыха, прежде всего, а как парк культуры, а потом уже отдыха. Значит, это парк, который должен нести новую культуру. Отсюда и планировка, отсюда тетки с веслами и прочее, потому что это было как бы продолжение школьной аудитории, где должен был воспитываться человек. Это тоже часть общественной мысли.



Аспирантура. 1974—1975 гг.

О запомнившихся лекциях

Б.П.: Вот по поводу школьной аудитории и вообще вашего преподавания, в каких аудиториях произошли наиболее занятные ваши лекции? Что запомнилось необычного, может быть, вычурного?

К.А.: Насчет лекций не скажу, потому что, как правило, никто в меня не кидал тухлыми яйцами и помидорами, слава тебе господи, может, еще все впереди. А из самых запомнившихся приколов... одно время на факультете было афганское и кубинское отделение. Сюда приезжали кубинцы и афганцы. Кубинцы приезжали в уверенности, что они владеют русским языком. Система была такая: человек учится в Институте физкультуры... у меня одна студентка была, это ее судьба... Она училась в этом институте, на втором курсе родила ребенка. Ребенку три месяца, ее вызывает партком и говорит: «Поедешь в Россию учить философию». Вернее, научный коммунизм. Того, кто учил историю, посылают учиться на ветеринара, ну, в общем, «партия сказала, комсомол ответил: „Есть!“». И она рассказывала, как учила русский язык в школе, потом два года у себя в институте и прилетела сюда в полной уверенности, что может разговаривать по-русски. «И в аэропорту я поняла единственное слово “аэрофлот”, больше ничего». Еще у кубинцев произношение нечеткое. Они из Галисии, а у галисийцев акцент как у американцев: говорят, будто жуют кашу.

Б.П.: Они еще съедают все окончания, я был на Кубе, там ужасно относятся к языку.

К.А.: Да, как американцы. Американцы съедают окончания, и эти съедают, близость к Америке сказывается. И вот они пошли в магазин, им был нужен нож. Подходят к продавщице и говорят: «Нам нужен муж». (*Смеются.*) «Да нет у нас этого». Кончилось тем, что она сказала: «С такими-то мордами еще и каких-то мужей хотят». Плюс к тому, они еще и путались. У них же фунты, меряют-то не граммами, поэтому просили два грамма колбасы или еще что-нибудь в этом духе. Но это кубинцы, это еще полбеда. А вот афганцы

были потрясающие. Принимаем экзамен, я, Самсонова Таня, с которой как раз мы на пару принимали. Входит девушка, ну, Шахразада из «Тысяча и одной ночи»: глазщици, все прочее... У нее в руках книжечка в бумажном переплете, на ней чернильное пятно. И что-то написано арабской вязью. Она говорит: «Это словарь». Словарь так словарь, садись, готовься. Но какой-то странный словарь, все вязью, вязью, ничего по-русски нет. Я как-то обиделся, что она пошла к Татьяне, а не ко мне, и говорю: «Тань, посмотри, по моему, это не словарь». Выясняется, что это какой-то местный учебник, который ничем и никак не поможет на нашем предмете. Она получает два балла и уходит. Входит афганец, несет ту же самую книжку, с той же кляксой: «Это словарь». Следующий — то же самое.

На следующий день повторяется. Сидит аудитория, причем, получилось так, что там были кубинцы, были поляки, был один из Экваториальной Африки, говоривший по-французски, и афганцы. И наши были еще. Кубинцам я разрешил отвечать по-испански, благо немножко понимал, полякам — по-польски, причем, они были тоже... один садится и говорит: «Ой, пан профессорже, учил, учил, но так (*неразб.*)». Я говорю: «Як пан муве по-польску? — Пшите на стетем разем (приду в следующий раз)». Значит, отвечают по-французски, по-испански, по-польски, и входит афганец. С этой книгой, с этим чернильным пятном. «Это словарь». Я говорю: «Да что вы, родной, тут же написано ясно...» Наши прибалдели, конечно. Еще пришли двое афганцев на пересдачу, им дали вопросы, и я говорю: «Идите, сядьте где-нибудь, подготовьтесь и придете». Они пришли через две недели. Это был, пожалуй, самый яркий прикол.

Б.П.: Вы рассказывали когда-то историю, как читали лекцию врачам-психиатрам.

К.А.:А, это было, да. Тоже была эпопея, пожалуй, самая страшная лекция в моей жизни. Мой приятель, врач-психиатр, работавший в Институте психиатрии, тогда этот институт размещался в Кащенко — хорошее место, намоленное, был председателем Совета молодых ученых. Ему надо было организовать какую-то лекцию по культурной революции в Китае. Поскольку я имел доступ к тассовским материалам, то этой вещью интересовался. И я согласился. А возглавлял в ту пору Институт психиатрии академик Снежневский. Фигура очень сложная, через него проходили все наши диссиденты, во время войны он был главным психиатром вооруженных сил. К чести его, надо сказать, что он многих спас, поставив им диагноз, тем самым спасая от расстрела за трусость, за панику. Он — автор замечательного изобретения, которое называется «вялотекущая шизофрения». Суть его в том, что если у человека какой-то диссонанс с реальностью, он не воспринимает реальность как должное, то это признак вялотекущей шизофрении. Если я не люблю советскую власть, не люблю компартию, то у меня вялотекущая шизофрения. И вот туда-то меня и пригласили читать лекцию. За мной прислали машину директора.

Б.П.: Тогда вам стало страшно?

К.А.:Нет, поначалу еще не очень. Когда мы въехали в ворота, стало немножко страшнее. Перед началом меня проводили в кабинет директора, мы выпили с ним чуть-чуть чайку и прочего, ну, такая протокольная беседа, буквально пять — десять минут. А потом меня вводят в зал. В Кащенко окна зарешеченные, у каждого, как известно, своя ручка, так просто не выйдешь. В зале сидит человек пятьдесят в белых халатах с лицами, свойственными психиатрам: «Ничего, не волнуйтесь, мы и это вылечим...» Смотрят как-то оценивающе сострадательно. Когда я начал читать лекцию (она была не очень длинная, но, тем не менее), у меня вертится в подсознании: «В какую дверь меня поведут обратно, туда или туда?» Но все закончилось благополучно. Если они что-то заподозрили, а может быть, даже и выявили, то не показали виду. Снежневский еще подарил мне и моему приятелю литр спирта, что было очень кстати, чтобы снять напряжение. Это был действительно опыт. Так что мне довелось пообщаться со Снежневским. Вообще, честно говоря, я как-то пытался вспомнить, с кем я ручкался из именитых людей: Николай Рыжков, Михаил Горбачев, Анастас Микоян, Матвиенко несколько раз, в бытность ее еще вице-премьером. В общем, могу составить такой поминальник из больших персон, с которыми довелось быть, а с Горбачевым я даже сфотографирован.

Б.П.: В архиве?

К.А.:Да, в архиве, там была открыта выставка, посвященная расстрелу антифашистского комитета еврейского. И это был первый визит бывшего Генерального секретаря в бывший Центральный

партийный архив. Он был там, и есть фотография, так что, когда буду писать мемуары, обнародую эту фотографию.

Возвращение в архив

Б.П.: Расскажите об архиве. Вы его возглавили в 92-м году, а когда вы туда пришли?

К.А.: Я пришел туда в феврале 92-го года. Там история такова: мой хороший знакомый по институту, правда, он работал в Отделении истории, но поскольку в этом же бывшем виварии находилось Отделение истории и наш институт, мы с ним были в хороших отношениях, общались. Он стал первым директором архива после того, как архив национализировали. Козлов Вадим Петрович, сейчас он членкор и т.д. И он меня приглашал к себе на работу. Но поскольку я был заведующим отделом в Институте всеобщей истории, а не всякая богадельня так хороша, как Институт всеобщей истории, потому что там был принцип телемского аббатства: «Поступай по своей воле». В конце года ты должен представить статью, книгу или что еще тебе положено по плану, но где ты это делаешь, как ты это делаешь — никого не волнует. Хочешь, садись и делай за день, а потом весь год гуляй, хочешь весь год гуляй, а потом, в конце садись и делай, хочешь ночью, хочешь на даче, хочешь, где хочешь. Два присутственных дня в неделю, летом вообще ни одного. Но, единственно, за зарплатой все приезжали.

Б.П.: А аспирантов никаких не было?

К.А.: Были.

Б.П.: Были аспиранты, но преподавательской деятельности не было?

К.А.: Да, причем, может быть, нескромно, но аспиранты был штучный товар. Когда я поступал в аспирантуру, у меня на курсе было два человека: я и еще одна дама, которая занималась новыми левыми в Германии. Было еще двое или трое целевиков и все. Понимаете, на нашем факультете и вообще в МГУ по-другому: ты начинаешь работать с ними как со студентами, они перерастают в аспирантов, а школярское отношение остается. Как в их отношении, так и в отношении к ним. Правда, потом некоторые дорастают до доцентов и становятся уже коллегами на равных, но это требует какого-то времени. А там этого нет, и в этом была прелесть. Ты приходишь, ты — коллега. Никого не колышет, аспирант ты или не аспирант. Да, есть какие-то аспирантские дела, которые нужно делать, но, в принципе, ты — коллега на равных.

Б.П.: Но, наверное, не все аспиранты были только что окончившие, были и повзрослее люди?

К.А.: В основном, целевики. Некоторые были повзрослее, некоторые тоже только оперившиеся. У меня один приятель (сейчас он профессор Одесского университета) занимался первобытной историей и археологией. Но когда-то, в свое время, Одесский запросил целевку (целевую аспирантуру), а никого не нашлось, и его отправили заниматься средними веками. Правда, после этого ему пришлось переквалифицироваться на историю Украины, но это уже потом, после распада. Там была другая система, и отношения были другие. Нету старших и младших, все — коллеги, все одинаково работают. Да, конечно, какие-то возрастные нюансы поведения существовали. Но было как-то по-другому, не знаю, лучше, хуже, но готовили штучный товар, потому что, действительно, я уже рассказал про экзамены — это другая совершенно система.

Б.П.: Разумеется, такой тип экзамена — подтверждение, что человек напишет хорошую диссертацию, подтверждение его компетентности. Но ваш приход в РГАСПИ?

К.А.: Меня мой приятель уговаривал, сначала он меня прельщал должностью заведующего отделом публикаций и внешних сношений, но я сказал, что я и так заведующий отделом, мне это не интересно. А в феврале он позвонил и говорит: «Приходи, нужно переговорить». А я в тот день очень жалостлив был, не знаю, почему, и он меня уговорил прийти к нему замдиректором хотя бы на время. У меня был такой период, когда я занимался проблемами подготовки персонала для малых предприятий и даже участвовал

как эксперт в каких-то еэсовских вещах. И немножко был связан с издательским делом, по крайней мере, разбирался в авторских правах и прочих вещах. «Помоги мне наладить внешние связи». Благо — языки и т.д. Я согласился и пошел к нему на полставки заместителем директора. Причем, я, конечно, спросил дозволение у Чубарьяна Александра Огановича, директора Института всеобщей истории, которому я, в общем-то, тоже очень многим обязан. По крайней мере, глядя на него, я перенял какие-то менеджерские приемы, которые характерны именно для гуманитарных организаций.

Б.П.: Это очень сложный менеджмент?

К.А.: Конечно, сложный, сложный. Когда я работал в архиве, у нас было двести пятьдесят человек персонала, из них семнадцать кандидатов, девять докторов, пять лауреатов Государственной премии.

Б.П.: Ужасно! Как руководить?!

К.А.: Вот, а ты какой-то там кандидатишка, доцентик. Нет, в общем, можно найти... Так я спросил разрешения у Чубарьяна, он сказал: «Конечно-конечно», потому что получить доступ к архиву Коминтерна и заслать своего казачка — великое дело. Я согласился. Проработав там полмесяца или месяц, выяснил, что замдиректора не может быть на полставки. И пришлось опять идти к Чубарьяну, потому что я уже ввязался, притащил с собой двух людей, которые прихлились там очень кстати. Одного вы знаете, это Андрей Доронин. Он был аспирантом в Институте всеобщей истории, я его притащил, чтобы он тоже занимался международными вещами. И я уже людей сбил с панталыку, уходить как-то неудобно. Ну, я к Чубарьяну: «Так, мол, и так». Он говорит: «В чем проблема? Остаются на полставки в институте, идете на полную ставку замдиректора туда».

Когда я это сделал, буквально через неделю или полторы Козлова назначают заместителем руководителя федеральной архивной службы, Росархива, а я остаюсь директором.

” У меня получилось так, что замдиректора де-факто я пробыл где-то около месяца, де-юре два дня, после чего стал директором. Это, честно говоря, было несколько неожиданно, потому что после работы в архиве, когда меня выгнали из института, я обходил это здание стороной, у меня были не самые лучшие воспоминания.

Хотя там хорошие люди, но сама атмосфера очень жесткая. Причем, мне еще «везло»: только я выйду покурить, обязательно идет мимо директор, через два часа снова выхожу покурить, опять он идет. Как нарочно. «Андерсон, что-то вы много курите». Не буду же я ему объяснять, что выхожу раз в два часа и что же вы ходите смотреть, как я курю? Поэтому несколько для меня было неожиданно, хотя мне было проще, чем Козлову, он для них был сторонний человек, я был свой. С учетом того, что и отец там, в ИМЛе, когда-то работал, да и я там еще пацаном... Меня помнили еще кучерявым, а тут приходит уже лысый дядька.

Но, конечно, жизнь бывает удивительной. Если бы мне кто-нибудь сказал в 68-м году, когда я в первый раз попал туда научно вспомогательным сотрудником, что пройдет какое-то количество лет, и я буду сидеть в кресле директора, а дочка генерального секретаря подавать мне кофе... Действительно, когда я туда пришел, в приемной работала дочка Константина Устиновича Черненко, Елена Коновалова. Знаете, мир свихнулся, и он, действительно, свихнулся.

Б.П.: Это человек, которого отовсюду отчисляли, все выгоняли, и дочка генерального секретаря подает кофе. Вы стали так быстро директором, это был Центральный партийный архив....

К.А.: Он уже назывался Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, РЦХИДНИ.

Об истории семьи

Б.П.:Все архивы там сохранились. Вы — представитель интеллигенции, у вас много дворянских корней, сложная семейная история. У вас было желание найти в этом архиве что-то для себя, что бы вам объяснило развитие истории, какой-то пафос первооткрывателя у вас был тогда?

К.А.:Понимаете, пафоса не было, хотя кое-какие документы своих родственников я нашел, в частности, нашел анкету моего деда. Была партийная перепись, по-моему, 32-го года. О своем деде, от которого унаследовал фамилию, я знал не так много. У него была сложная судьба, он до войны попал под раздачу, войну прошел в штрафном саперном батальоне. Правда, потом к нему как бы смиростивились, в партии не восстановили, но он преподавал в Пермском университете. И как раз должна была быть вторая волна, я уже родился (это был 52-й год, мне было три года), он умер, видимо, ожидал, что его снова потянут. Он похоронен в Перми, могила известна, даже в пермском некрополе упоминается. Его последняя жена (у него их штук пять было)...

Б.П.:Он был жизнелюб?

К.А.:Да, жизнелюбивый, хотя и латыш.

Б.П.:Андерсон — это латышская фамилия?

К.А.:Это псевдоним деда. Он был в социал-демократии латышского края, и когда началась Первая мировая, то три брата уехали из Латвии. Двое, в том числе мой дед, отправились в Америку, где дед примкнул к какой-то эмигрантской компартии латышской. Потом, в 18-м году вернулся, был в Красной гвардии в Архангельске, потом оказался среди латышских стрелков, был в Первой конной, где познакомился с моей бабушкой.

Б.П.:(удивленно)В Первой конной армии? Потрясающе!

К.А.:Да, бабушка дворянского происхождения, служила в редакции конно-армейской газеты, какой-то «Дивизион», они там и познакомились. А потом дед первым получил (он и Нечкина), они получили первыми, дед — кандидата, а она — доктора. Потом дед, правда, стал доктором наук, исторических естественно. Он работал заместителем директора Института красной профессуры, а когда пошли гонения на латышей, Кнорин был арестован, заодно и его арестовали. Правда, он попал в хорошие руки, к капитану госбезопасности, который вытащил очень много коминтерновцев. К нему попал мой дед, в результате его освободили 22-го июня 41-го года, осудив на срок предварительного заключения. А дальше уже другая история... Так вот последняя жена деда (по-моему, в прошлом году она была еще жива), она была чуть-чуть моложе его, лет на двадцать — тридцать.

Б.П.:Но вы нашли какие-то документы, связанные с ним, и разобрались в этой истории?

К.А.:По крайней мере, в переписи указано место рождения, другие вещи. Потом мне даже удалось попасть в Латвию и найти своего родственника. Было довольно забавно, одна восторженная дама помогла мне найти его. Настоящая фамилия моего деда — довольно редкая для Латвии, а родственник оказался видным деятелем националистического движения, один из лидеров Комитета латышских граждан. И когда моя знакомая меня с ним свела, он был слегка напуган. Во-первых, думал, что я буду притязать на хутор (чего я не собирался делать), во-вторых, представьте себе, к великому дракону ку-клукс-клана приезжает родственник, оказывающийся негром. Приблизительно, то же самое здесь.

” Он из Комитета латышских граждан, антикоммунист, русофоб, и прочее, и прочее. И вдруг из России приезжает мужик, который говорит, что он — его родственник, а он-то искал своего дядю (моего деда) в Америке, знал, что он туда эмигрировал.

Везде искал, а в России не догадался. А когда узнал, что дядя в России, да еще и в большевиках состоял,

то для него это было, конечно, тяжелым ударом. Больше мы с ним не виделись, да я к этому и не стремился.

Плюс к этому в архиве были еще материалы по Кронштадтскому мятежу, и мне совершенно случайно нашли приговор трибунала, вернее, стенограмму судебного разбирательства. Мой двоюродный дед (брат моей бабки дворянки, которая оказалась в Первой конной) был одним из первых военно-морских летчиков. И когда его эскадрилья перешла на сторону кронштадских мятежников, он пошел с ними, потому что у него, как и у многих интеллигентов той поры, был принцип: «Быть с народом, куда народ, туда и я».

Б.П.: Он сам эсером был?

К.А.: Нет, он был офицер. Окончил Михайловское училище, летчиком стал. И в итоге, поскольку он дворянин, его единственного из эскадрильи и расстреляли. Процесс, насколько я представляю, длился минут десять. Вот такие вещи.

” Сказать, чтобы пафос — нет. Но когда ты воспринимаешь какие-то события, скажем, Кронштадтский мятеж, не только как историческое событие, но и как то, что имеет отношение к твоей собственной семье, в общем-то, немножко по-другому относишься к истории.

Б.П.: По поводу отношения к истории и по поводу документов, которые попали вам в руки... в вашей семье много дворян, с одной стороны, и, с другой, оказывается, дедушка, от которого вы унаследовали фамилию, перешедший на сторону революции, большевик.

К.А.: Большевик, хотя он, в общем-то, из семьи куркуля. Мой родственник, националист, поверил, что я свой, когда достал фотографию, где был мой прадед, на голову возвышаясь над остальными. И если я на кого и похож, то на своего прадеда. Правда, родственничек фотографию так и не сделал, хотя обещал прислать. Прадед был крутой мужик, сумел у немецких баронов оттяпать землю. Он был настоящий такой латышский куркуль. Мой дед не из бедных крестьян, он сын латышского кулака.

Б.П.: Как вы с этим всем примирились?

К.А.: А чего мириться? Что же, путешествовать во времени и менять свое прошлое? Понимаете, во-первых, там разные корни и разные люди... Вторая бабушка была из обычных прибалтийских мещан (у меня так получилось, что одна бабушка родилась в Дерпте, вторая в Каунасе, дед в Латвии — всего понемножку). Та бабушка с десяти лет занималась портняжным мастерством, была портной. Причем, она всю жизнь работала на дому за исключением военного времени, когда шила шинели в Первую мировую в Твери. А так она работала на дому, но работала на кремлевское ателье. Она шила жене Абакумова, она шила Землячке, еще кому-то...

” Обычная портниха, очень хорошая портниха, судя по тому, что к ней (она умерла в 70-е годы) ходили дамы, которые приходили к ней и в 20-е, 30-е годы, и она их обшивала. Действительно была профессионалом, я видел, как она за один день сшила зимнее пальто на подкладке с меховым воротником с одной примеркой.

Она была самым разумным человеком в нашей семье. Это дает ощущение какой-то сопричастности к истории, но заслуги предков не могут быть твоими заслугами. Просто через них ты более привязан к истории, к своей стране, к своему прошлому.

Б.П.: Скажите, пожалуйста, а этот дедушка и его братья, которые стали большевиками, они были

народниками?

К.А.:Братья не стали большевиками.



Конференция в МГУ. 2011 г.

Б.П.:Только он один?

К.А.:Один умер в Америке, а третий поехал в Россию через Аляску, но так и не доехал, вернулся в Латвию. Он и стал владельцем хутора, и его сын стал одним из лидеров националистов Латвии. А так у меня один из прадедов служил в военной миссии российского посольства в период Первой мировой войны, занимался поставками оружия в Россию, будучи по должности акцизным чиновником (в обмен на спирт). На него есть очень хорошая ссылка в воспоминаниях Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Это был глава военной миссии, экономист, и там упоминается мой прадед. Он после революции так и остался там, умер во Франции, похоронен в Ницце, а его дети оказались в России на стороне красных. Один был расстрелян в Кронштадте, второй, тоже окончивший Михайловское училище, служил уже в Красной армии военным инженером, а младший (когда началась революция, он был еще в гимназии), стал историком, и по его учебнику я учился в школе.

Б.П.:Из документов, с которыми вы столкнулись, когда стали директором архива, какие произвели на вас особенно сильное впечатление? Вы увидели документы, изменилось ли ваше представление об этом периоде или о каких-то личностях? Там же много личных архивов.

К.А.:Да, там много личных архивов, но когда смотришь на эти вещи с точки зрения профессионала, какого-

то восторга, умиления... Да, я держал в руках автографы Сталина, Ленина, Маркса и прочих. Когда попал первый раз, еще пацаном, изгнанным студентом, тогда это было более мистически, более романтично, потому что когда ты держишь в руках автограф Горького или автограф Ленина, действительно совершенно другие ощущения, другая энергетика от самого документа. А когда они становятся частью повседневности, то воспринимаются совершенно по-другому.

Понимаете, мне повезло в том отношении, что тот архив, в который я попал директором, в общем, был немного в стороне от моих профессиональных интересов. Я все-таки западник, в основном по XIX веку, а там по XIX веку, в основном, Маркс, есть еще Годвин, французы, это мне было более интересно. А что касается запоминающихся встреч с документами, наверное, две вещи: первая — это расстрельные альбомы. Они, действительно, производят очень гнетущее впечатление.

” Альбом большого формата «Предложены к расстрелу», страниц сто, сто пятьдесят, люди по всему Союзу собраны. Нет ни дат жизни, ни года рождения, ничего — фамилия, имя, отчество. И на первой странице красиво подписи: Сталин, Хрущев, Берия, Каганович и прочие. Представляешь себе тогдашний механизм репрессий, абсолютно бездушный, бьющий по площадям, как во времена Французской революции.

Тогда, в конечном счете, террор был не против отдельных каких-то врагов, во времена Робеспьера задача революционного трибунала — карать! Не судить, а карать. И принадлежность к дворянскому сословию или родственники за границей становились поводом для того, чтобы оказаться на эшафоте. То же самое и здесь, какая-то бессистемность. По площадям бьют для того, чтобы утратить. Это явно один из главных мотивов.

А второе, даже не документ. По правилам делопроизводства, когда проходило в Кремле заседание Политбюро, то собирали все бумаги, которые оставались на столе. Ну, может, кто-то и уносил с собой, но в ряде случаев запрещалось выносить записи. То, что оставалось у Сталина, собиралось. Иногда были какие-то календарные обрывочки, на которых что-то написано. Попадается довольно много... скажем, проект постановления, написанный на пачке папирос. Там же папиросы выдавались. В месяц Сталину в кабинет давали, по-моему, три тысячи папирос, потому что курили... Немерено чаю, сахару, и все расписано. И довольно часто попадаются такие вещи: он ведет какие-то записи и рисует чертиков. Вернее, не чертиков, он почему-то рисовал динамовский знак. Очень часто попадает. Да, еще карикатуры членов Политбюро друг на друга. Это тоже открытие. И когда видишь такие записочки, даже их смысла не поймешь (делали пометки ведь для себя), то как-то ощущаешь себя внутри, можно представить, как это происходило.

Б.П.: Динамовские знаки — это интересно.

К.А.: А кто-то сидит и рисует шаржи друг на друга.

Б.П.: Когда человек рисует, то он же не задумывается, рисует то, что первое придет в голову.

К.А.: В принципе, мне, так или иначе, пришлось столкнуться со сталинской эпохой, поскольку за шестнадцать лет работы в архиве, где Коминтерн и Сталин представляют наибольший интерес для людей, никуда от этого не денешься. Было много проектов. За шестнадцать лет архив выпустил около двухсот изданий, это довольно много даже для исследовательского института, не говоря уже об архиве. Поэтому, конечно, соприкасаешься, но, опять-таки, думаю, мне это пошло на пользу, поскольку пришлось еще заниматься и сталинской эпохой. Я не стал специалистом, не пишу каких-то вещей, хотя на нашей конференции...

Б.П.: Но вас как большого эксперта приглашают на передачи по поводу Сталина и Ленина.

К.А.:Вы знаете, мне вчера позвонили, пригласили на РЕН ТВ, на передачу по поводу Северной Кореи. Я к ней не имею никакого отношения, у меня есть подозрение, что они перепутали фамилии: не Андерсон, а Кимдерсон.

«Ульянов умер, Ленин жив»

Б.П.:По поводу Сталина и Ленина я хотел все же задать вам вопрос, который мне представляется интересным и принципиально важным для нашего времени. Вам не кажется, что эти два человека: их жизнь, их биография, истории, связанные с ними, настолько мифологизированы, напластование мифов вокруг них настолько плотное, что нельзя сказать практически ни одного слова о них, которое было бы правдой. Практически все, что сказано о них, является так или иначе ложью.

К.А.:Не путайте миф и ложь, это все-таки разное.

Б.П.:Прошу прощения, конечно, миф, вымысел. Вам приходилось работать с документами, документы для историка считаются истиной в последней инстанции. В связи с этим два вопроса: как соотносятся эти два образа, мифологический Ленин и мифологический Сталин, с теми образами, которые вырисовываются по их документам? Это первый вопрос. И второй: можно ли вообще сейчас написать какую-то объективную, правдивую биографию того и другого, или нужно ждать, когда пройдет какой-то неопределенный срок?

К.А.:Есть еще один вариант — пригласить варягов. Вы знаете, из того, что писали о Ленине и Сталине за последние годы (особенно о Ленине), один из самых объективных исследователей ленинского периода (правда, он больше специалист по Бухарину, нежели по Ленину, но по Ленину он тоже писал) — это Стив Коэн. Точно так же, как биография Сталина, написанная Такером, более объективна...

Б.П.:Но она тоже представляет какое-то...

К.А.:Естественно, есть какая-то точка зрения, собственное видение есть. Нельзя требовать от историка, чтобы он скрывал свое видение, свой почерк. Я всегда своим западным коллегам, которые удивляются: «как у вас интересно, как у вас много всего происходит!» (действительно, чертовщина-то происходила), я им говорю: «Одно дело, когда вы видите пожар, находясь в горящем доме, и другое, когда вы смотрите со стороны». Со стороны вы будете видеть пожар, и, может быть, более объективно его опишете, потому что, когда ты внутри дома, думаешь: «Где документы, что схватить, что унести в первую очередь и т.д. Книжку любимую не забыть прихватить». Поэтому у нас пока (думаю, что это в ближайшем будущем сохранится, может быть десятилетие, не меньше) трудно ожидать объективного отношения к Сталину и Ленину. Это слишком политизировано.

Плюс к этому, чем история хороша? Я вам уже говорил, что историк через своих персонажей может сказать то, что он хочет сказать. Тот же самый Штекли, который написал Кампанеллу, Мюнцера, описал свои тюремные годы через этих персонажей. Разговор о Сталине в наше время, о Ленине сейчас меньше говорят, кстати, если заметили, а разговор о Сталине — это разговор об авторитарной власти, потому что напрямую обсуждать проблемы авторитарной власти бывает иногда накладно. Как было у Алексея Толстого в «Истории государства Российского от Гостомысла до наших дней»:

Ходить бывает склизко

По камешкам иным,

Итак, о том, что близко,

Мы лучше умолчим.

Поэтому ожидать какого-то не политизированного, объективного исследования маловероятно. Если вы возьмете выходящие у нас работы по Сталину, мало кто использует сочинения самого Сталина,

за редким исключением. В основном обсуждают его поступки, иногда мифологизированные, иногда вымышленные, но чего-то объективного, чтобы изучить и слово, и дело, такого нет, и вряд ли ожидается. Что касается мифов, да, конечно, они стали мифами. Ленин в меньшей степени стал мифом, его мифологизация началась после смерти. Надо сказать, что после похорон Ленина собрали все венки, которые были в Колонном зале Дома Союзов, и сфотографировали. Совершенно потрясающая и интересная вещь. Там записки от детских садов, от каких-то детишек школьников, которые пишут: «Дедушка Ленин был хорошим, любил кошечек и собачек, как жалко, что его нету», от заключенных бутырской тюрьмы: «Дорогому учителю», от пассажиров поезда № 4 «Москва–Ташкент» и т.п.

” И один венок, по-моему, от криворожских комсомольцев, потрясающий. Они, наверное, сами не доперли, что сказали, но сказали мудрую вещь: «Ульянов умер, Ленин жив». И здесь как раз тот момент, когда начинается мифологизация. Совершенно гениальная и блестящая фраза, которая очень многое объясняет.

А дальше уже идет раскрутка. Сталинский миф начал создаваться где-то в 28-м или в 29-м году. Собственно, первый заметный шаг к мифу — это 29-й год, пятидесятилетие Сталина, когда появляется всякая патетика: оды и т.п. А дальше идет по нарастающей. Но Сталин сам контролировал свой миф, недаром он с Барбюсом, с Фейхтвангером общался. Почти миф о Христе: в убогой хижине, в яслях, появляется младенец и т.д. То есть Сталин его регулировал, причем, регулировался даже внешний облик. Редактировались его фотографии, и тем фотографам, которые работали в Кремле, трудно позавидовать. Сталин был маленького роста, где-то 156 см, Ленин тоже был небольшого росточка, правда, Ежов был еще меньше, за это Сталин его, видимо, и любил. А когда снимались групповые, то Сталин не мог выглядеть ниже остальных, и найти ракурс, чтобы Сталин стал вровень с высокорослыми, конечно, было искусство.

Б.П.: Фотошопа не было.

К.А.: Да, не было. Избегали снимков сзади, потому что у Сталина была проплешина довольно приличная. Вы ни на одной фотографии этого не увидите, за исключением черновых, которые остались в архиве.

Б.П.: А как вы относитесь к текстам, которые написали европейские интеллектуалы по поводу Сталина: Ромен Роллан, Барбюс, Андре Жид и т.д. С точки зрения, может быть, архива, с точки зрения подтверждений, которые вы находили? Как к этому относиться?

К.А.: Барбюс отчасти выполнял заказ. Барбюс и отчасти Роллан жили во многом за счет тех гонораров, которые получали здесь, а получали они совсем не мало. Фейхтвангер, поскольку Сталин в ту пору еще не был антисемитом, по крайней мере явным антисемитом, такого антиеврейского в его действиях было мало, то Фейхтвангер создавал нечто, чтобы оттенить гадость Гитлера.

” Плюс к этому, Сталин умел производить впечатление, обладал своеобразным чувством юмора, и, в общем, был редактором. Хотя, когда писали Барбюс, Роллан и Фейхтвангер, их никто здесь не редактировал, никто не говорил, что писать и как писать, это их внутренняя редакция.

Сталину доносили, когда они приезжали, он давал соответствующие указания, но какого-то давления или принуждения: «Напишите так-то и так-то», не было. Сталин очень редактировал исторические вещи. Не знаю, получится или нет, одна дама из наших студентов сейчас пишет исследование по исторической политике (история как часть идеологической политики). С историками Сталин работал основательно.

Б.П.: Вы имеете в виду историю ВКП?

К.А.: Нет, не только. У него была великолепная переписка с Тарле. Он касался сюжетов даже Наполеоновских войн, Священного союза. В Нижнем Новгороде есть такой Зеленев. У него вышла два тома: «Переписка Сталина с историками» и его заметки по поводу истории. Борьба с Покровским тоже была. ВКП — там другое. ВКП — потрясающая, конечно, вещь. Сначала был выпущен под руководством Емельяна Ярославского курс «История ВКП». Был макет, но Сталину он не понравился. Кстати, среди авторов этого макета был и мой дед.

Б.П.: Это тот, учебник которого вы читали?

К.А.: Нет, тот, которого посадили, латыш. Он тогда был заместителем директора Института красной профессуры по истории, так что у меня есть первоначальный вариант, правда, без его автографа.

” Сталин начал второй вариант, и потрясающе, что он редактировал «Краткий курс» по крайней мере раза три — четыре, некоторые страницы больше. Причем макет, к нему приклеены машинописные кусочки, к кусочку приклеен (раньше, когда не было компьютеров, приклеивали, приклеивали, получалась такая воронья слободка из бумаги) еще кусочек текста с правкой Сталина карандашом или ручкой поверх этого текста, потом зачеркнуто, потом опять приклеено.

Причем он все это делал сам! Сам резал, клеил, сам подклеивал. Причем, он не только редактировал «Краткий курс», но в учебнике Леонтьева по политэкономии он переписал практически весь раздел «Рабовладельческий строй». В этом отношении фигура уникальная, потому что занят-то он был достаточно основательно. У него иногда проходило до сотни документов в день, причем, не просто каких-то документов типа «Прошение о повышении жалования», а серьезных. Но он находил время читать, писал сам, еще и редактировал других. Работоспособность у него была потрясающая. Сейчас архив готовит так называемую платформу, куда войдет архив документов Сталина из РГАСПИ. В том числе, отдельно будет «Краткий курс истории ВКП». Причем, будет идти так, как он есть, затем расшифровка, и будет еще оставлено пространство для комментариев ученых... Это проект, который делается совместно с Йельским университетом. Они были инициаторами, они выделяли на это деньги. Но представить себе, чтобы кто-то после Сталина... Хрущев ничего не писал...

Б.П.: Первый из них, который не писал?

К.А.: Булганин тоже ничего не писал. Молотов писал трогательные письма жене, но фигуры, которая как Сталин, вникала бы в текст... Причем Сталин редактировал все знаменитые статьи Жданова в журнале «Звезда», про Ахматову и Зощенко он редактировал, причем редактировал старательно. А «Краткий курс» он, действительно, несколько раз переписывал, подклеивал...

Власть и интеллигенция

Б.П.: Еще тема, которая мне кажется очень интересной, — литература и власть. Дело в том, в 20—30-е годы невероятным образом власть интересовалась литературой, а литература интересовалась властью. Сталин читал художественные произведения, звонил каким-то авторам, происходили эти удивительные встречи у Горького. И что меня совсем поразило, не знаю, боюсь соврать, была ли какая-то дискуссия по поводу романа «Улисс», где Карл Радек спорил чуть ли не с Троцким, переводить или не переводить на русский язык роман «Улисс». Люди почти на уровне министров занимаются тем, что в свободное время читают самый радикальный европейский модернистский роман, причем, на языке оригинала, и долго спорят о том, нужно это советскому читателю или не нужно. Как можно объяснить такой интерес и время,

которое власть тратила на литературу? И почему сейчас этого нет?

К.А.: Насчет «Улисса» ничего не могу сказать, не подалось. Тем более что если был Троцкий, то Сталин там вряд ли был.

Б.П.: Может быть, я что-то путаю, совсем давно об этом слышал, но такая дискуссия была.

К.А.: Что касается министров: Каганович не читал художественную литературу, Молотов практически тоже не читал. Сталин читал, причем, для меня было неожиданностью, когда я обнаружил письмо Пильняка Сталину, что ему не дают разрешения выехать в Америку, а ему это нужно для творческих вещей. Он выехал, потом вернулся, привез оттуда машину, катался на ней по Москве. История с Булгаковым достаточно известна. У Сталина как бы два начала... Я принимал участие в подготовке сборника «Кремлевский кинотеатр». Это записи Шумяцкого, который был председателем Госкино и который организовывал просмотры в Кремле, на квартире Сталина. Он одессит, нормальный, был нашим резидентом в Персии после революции. И когда он представлял какую-то картину и видел, что реакция хорошая, тут же быстренько вызывал авторов, актеров, представлял их Сталину и просил деньги на развитие кино. Абсолютно нормальная парадная управленческая игра. Он вел записи, причем, вел их не в присутствии Сталина, это было невозможно. Но у него, по-видимому, была хорошая память, он приходил домой и тут же записывал, кто что говорил. Причем, он иногда там пишет «Коба». Он одно время обращался к Сталину «Коба», они вместе были в Туруханской ссылке.

Б.П.: То есть имел право?

К.А.: До поры, до времени. После 25-го года он пишет уже: «Товарищ Сталин». Все, Коба ушел, вовремя остановился. Даже какие-то интонации передаются. Коба: «Этот фильм то-то и то-то», Каганович: «Фильм то-то и то-то». И такие вещи подробно, на три, на четыре странички. Очень интересно, как будто присутствуешь внутри этого круга, который смотрит кино: «Веселые ребята», «Чапаев» и прочее... У Молотова и у Кагановича чисто прагматический подход с классовой позиции: правильная классовая позиция, неправильная классовая позиция. Сталин все-таки обращает внимание еще на художественную сторону. Кино как орудие пропаганды, как орудие убеждения, как орудие промывки мозгов, для него это бесспорно важно (позже пойдет и радио, до телевидения не дойдет). Он понимает силу этого инструмента, он ему содействует, но в то же время у него есть какой-то вкус. Может быть, потому что в молодости он сам занимался стихосложением, писал стихи на грузинском языке, как-то интересовался литературой, и у него больше литературного вкуса. Поэтому у него другие отношения с писателями.

Есть стенограммы его встреч с писателями. Кстати, встречаясь с писателями ли, с директорами совхозов, он никогда не выделял: «Вот, я пришел». Очень скромно сидит, слушает, не возникает, когда его просят выступить, выступает. Умел показать себя достаточно простым и понимал силу слова больше, чем понимали Каганович, Молотов и прочие, тот же Хрущев, который к литературе относился как-то... И если посмотреть, какие фильмы нравились Кагановичу и какие Сталину, — разные фильмы. Кагановичу нравится все прямолинейное, где большевик — это большевик, где гад — это гад, кулак — это кулак, его прищучивают, в конце концов. А Сталин «Веселых ребят» даже в незавершенном варианте смотрел раз пятнадцать, в общей сложности смотрел раз пятьдесят. «Чапаева» смотрел, в общем-то, те фильмы, которые и сейчас в ходу. Искусство, конечно, было орудием пропаганды, есть хорошая документальная публикация, которая это подтверждает. К тому же (это, наверное, свойство творческой интеллигенции), если брать доносы на тысячу [человек], среди военных были, но немного, среди технической интеллигенции тоже очень немного, а вот среди творческой интеллигенции — сплошь и рядом. Судя по архивам, которые есть в РГАСПИ, и по другим публикациям, конечно, гадюшник был еще тот. Первый съезд Союза советских писателей, там, по-моему, четыреста что ли делегатов было...

Б.П.: Это какой год?

К.А.: Где-то 32-й или 33-й, еще до Ежова, точно не помню, боюсь соврать. Четыреста делегатов и где-то сто двадцать оперативных псевдонимов от НКВД. То есть каждый третий... Причем, есть какие-то

потрясающие вещи: кинорежиссер беседует с писателем, писатель говорит всякие гадости, а кинорежиссер не нашелся, что ему ответить. Так получается, по логике, по тому, что там видно, по хвостам, это беседа Эйзенштейна с Бабелем. После чего Бабель оказывается, в общем-то, не у дел. Там были потрясающие люди, типа того же Демьяна Бедного, который пишет Ежову записку: «Собираюсь к тебе на харчи, да машина сломалась, новой нету, надо какую-то басню „Лисица и журавль“ придумать с просьбой о машине». Разные были люди, меркантильность была у многих.

” В конце концов, тот же Пастернак писал стихи во славу Сталина, и были его статьи гневные по поводу процесса над Бухариным: «Сволочи, так вам всем и надо!», потому что Бухарин поддерживал дружную литературную ориентацию.

Здесь очень непростая история, она очень интересная, и без анализа того, что происходило в сознании, как это люди воспринимали... В архиве РГАСПИ очень большой фонд писем с мест по поводу коллективизации. Огромное количество. Большею частью деревенские люди как бы в пользу коллективизации, и ясно, что это не организованное. Когда на семидесятилетие Сталина прислали порядка полутора миллионов поздравительных открыток из Польши, это явно было организовано, и организовано хорошо. А здесь более или менее искренне. И этот материал опубликован, но используется очень мало. Это «Письма во власть», о чем люди писали власти.

Б.П.: А это не издано?

К.А.: Издано! Вся проблема в чем: опубликовано очень много документальных сборников... Скажем, шестидесятитомная «История программ политических партий России». Расфасовано: националисты, трудовые, меньшевики, эсеры и прочее, но использование этих публикаций на нуле. Если раньше люди говорили: «Дайте нам архивы, мы перевернем мир». Архивы открылись...

Б.П.: А почему так происходит, сознание остается идеологизированным?

К.А.: Нет, я думаю не поэтому, а потому что это требует дополнительного труда. Когда приходит человек в архив и говорит: «А у вас распечатки нету? Что, я должен рукопись читать?» Это значит, что человек не готов к работе с архивом. Более того, это опубликовано, я понимаю, что опубликовано мизерными тиражами — пятьсот, тысяча экземпляров. Скажем, этой шестидесятитомной «Историей политических партий России» (они за нее получили лауреатов Государственной премии) мало кто пользуется. Блестящие издания: «Власть и художник», «Власть и творческая интеллигенция», «История цензуры в Советском Союзе», отличные, великолепные сборники, бери, работай с ними. Нет!

В принципе, заняться ощущениями людей, как они жили в ту эпоху, выход на то, что такое «общественное сознание» — элементарно! Даже есть такой тип документов, когда партийные лекторы разъезжали по разным точкам и читали лекции в связи с тем-то и тем-то, они потом должны были поставлять либо в обком, либо в ЦК, в зависимости от уровня, какие вопросы им задавали. Даже такая простая вещь дает понятие, чем в то время интересовались люди, какие вопросы задавали, что их волновало. Скажем, после войны было твердое убеждение, что американцы настоят на роспуске колхозов, и задавали вопросы: «Когда будут распущены колхозы?» и т.д.

” Беда в том, что далеко не все историки (а политологи и того меньше) умеют работать с документами, потому что документ, как подозреваемый: если вы не будете задавать ему вопросы, он ничего не скажет. Надо уметь задавать вопросы, а этому, к сожалению, учат очень плохо.

Поэтому многие стараются обходиться какими-то вторичными источниками, вторичными монографиями.

О знакомстве с Рамоном Меркадером. Современное отношение к литературе

Б.П.:Но все-таки вопрос, который мне не дает покоя: Троцкий в 23-м году...

К.А.:Кстати, пока не забыл, я был знаком с Меркадером.

Б.П.:Да?! Расскажите!

К.А.:Когда я в первый раз попал в Центральный партийный архив, там работала группа испанских товарищей, которая готовила «Историю гражданской войны в Испании». Кабинет, где я сидел, находился рядышком с ними, я им завидовал, им разрешалось курить прямо в комнате, плюс к этому у них всегда пахло хорошим кофе. И был там некий товарищ Лопес, очень благообразный мужчина в возрасте, ему бы играть «Богатые тоже плачут», такой настоящий синьор из общества. Всегда очень элегантный, а на праздники носил Звезду героя. И никто толком не знал, кто он, что он делал... Ну, герой и герой. А мы с ним курили на лестнице. И только потом я узнал, что это Меркадер. Он работал в этой группе.

Б.П.:Но он, насколько я понимаю, отсидел какое-то время?

К.А.:Он отсидел в Мексике, а потом вернулся сюда, и здесь жил, здесь умер, а потом его прах увезли на Кубу и там похоронили.

Б.П.:Можете о нем что-нибудь рассказать, он чем-то вам запомнился?

К.А.:Ну, мне он запомнился как такой респектабельный мачо. То есть было видно, что мужик благородных кровей, действительно, красивый был мужик... В отличие от испанцев довольно высокий.

Б.П.:Его же в фильме играл Ален Делон, насколько он похож на Делона?

К.А.:Ну, если брать его молодые фотографии, когда он убил Троцкого, то что-то есть.

Б.П.:Вот, что я хотел спросить по поводу Троцкого: в 23-м году он выпускает книжку, сборник статей, или ее можно считать цельным произведением, под названием «Революция и литература» или «Литература и революция». Наверное, он писал эти произведения раньше, но в 23-м году, когда обывателю, вроде, кажется, что нужно вести борьбу за власть, человек выпускает книгу о литературе.

К.А.:Во-первых, власть уже захвачена, во-вторых, начинается борьба между Пролеткультом и его противниками. Пролеткульт снесет все до основания и будет строить с нуля. Все-таки среди большевиков были люди, получившие классическое образование и имевшие классический вкус. Тот же Луначарский, который был автором нескольких пьес и интересовался не только актрисами, хотя и ими тоже, но интересовался литературой. Нет, литература — поле боя, так же как и история — поле боя. Кстати, есть хороший сборник «Писатели и власть», есть книжка Дениса Бабиченко, который работал у нас в архиве, он как раз занимался проблемой «Власть и писатель», «Власть и художник». Сейчас опубликованы еще материалы идеологических комиссий ЦК, но это уже после сталинских. Там 60-е, 70-е, тоже сборники документов, но их мало используют, опять-таки, та же самая история.

Б.П.:А сейчас власть не считает литературу ареной политической борьбы, они считают, что просто никто не читает?

К.А.: Думаю, да. Во-первых, читать стали меньше, во-вторых, интернет вытесняет, в-третьих, современной молодежи свойственно клиповое восприятие, поэтому дочитать одну книгу до конца удастся далеко не всем. Изменилась психология, изменилось восприятие. Во времена моей молодости поэтические вечера, вечера поэзии, и не только в Политешке, привлекали внимание. Как-то больше знали поэтов, поэзию, сейчас же этого практически нет.

Б.П.: Возобновились чтения в Политехническом.

К.А.: Не знаю, думаю, там средний возраст где-то пятьдесят лет и старше.

Б.П.: Вы имеете в виду поэтов?

К.А.: Зрителей.

Б.П.: Нет, зрители бывают и молодые, я там был. Не знаю, насколько это возрождение классики, но что-то они пытаются сделать. А, может быть, тогда у политиков и представителей первого поколения большевиков и революционеров было утопическое мышление, и литература им была близка, потому что они воспринимали мир как утопию, которую можно воплотить. А сейчас все вытеснила политическая практика?

К.А.: Вы знаете, там тоже были разные. Скажем, Чичерин, Луначарский, Бонч-Бруевич — это люди, которые тяготели к литературе. Луначарский сам пробовался. Коллонтай, которая, в общем-то, сама пробовалась как писательница. А были люди, которым это было не очень важно. Тот же Владимир Ильич, кстати, его художественные вкусы оставляли желать лучшего. Лучший писатель для него Короленко, потому что он дает статистику деревенских будней. А футуризм — это вообще отдельная история. Тогда был план монументальной пропаганды, когда Москву пытались сделать подобием «Города Солнца», большой наглядной агиткой. Он был очень рассержен некоторыми скульптурами, призывал Луначарского сечь за футуризм и т.п. Он был чужд этому.

Здесь так же, как, в принципе, Николай II, он тоже мало литературой интересовался. Как-то трудно составить групповой портрет. То, что литература — это орудие формирования нового человека, орудие воспитания того гражданина, который нужен государству, это да. А в 20-е годы печатное слово было единственным инструментом, я не беру плакаты, хотя они тоже полупечатное слово. По мере того, как развивается кино, меняется отношение к литературе, по мере появления радио — дальше, телевидение тоже, интернет — это вообще переворот. Мир меняется. Люди воспринимают мир через другие источники, через другие органы чувств. Слово — это смысл, и лишь отчасти образ. А сейчас больше воспринимается образ, и если есть какой-то текст, то это уже тяготит. Если я не могу по картинке сразу понять, о чем идет речь, читать не буду.

” Отсюда и цена, отсюда и отношение к литературе, отсюда и отношение вообще к гуманитарщикам, потому что гуманитарии — только одно расстройство. Просят денег, а потом напишут такое! А еще задумаются о власти: хорошая она, нехорошая... Сказано же в Писании: «Несть бовластьащенеотБога», и все ясно.

Об утопическом сознании

Б.П.: А вот еще по поводу архива и соотношения утопии и политической прагматики: те документы, которые есть, те личные архивы, какие-то французские источники, которые скупались и потом аккумулировались в этих архивах. В действительности, бросая широкий взгляд на ту эпоху, сколько процентов утопии, а сколько — прагматики? Как вам кажется?

К.А.: В общем-то, утопия иногда появляется сознательно. Может быть, один из самых ярких примеров утопии — конституция 1936 года. Самая демократическая конституция в мире. 36-й год: с одной стороны расстрельные альбомы, с другой — конституция. Утопия?

Б.П.: Утопия.

К.А.:Понимаете, утопия, на мой взгляд, если брать классическую утопию, а не создание мифов, которые потом превращаются в утопию, то утопия — то же самое, что мода от кутюр.

” То есть утопия показывает какие-то модели, в которых мало кто выйдет на улицу. Но она дает какие-то ориентиры. Это классическая утопия, это предназначение утопии. Большинство утопий не дают ответ на вопрос «как сделать». Что можно сделать — да, как — это уже другой вопрос.

То есть это какие-то вешки, какие-то образы, символы, идеалы, к которым можно приближаться, которым можно подражать. Но в упрощенном варианте, потому что в платье от Кардена, которое показывают на неделе мод в Милане, вы вряд ли поедете в московском метро или в маршрутке. Но, тем не менее, они нужны. И в этом смысле конституция 36-го года ничуть не хуже любых утопий. То же самое было во Франции: конституция 1793 года была еще демократичней, чем сталинская конституция. Там вообще ни один закон не мог быть принят без одобрения двух третей народных собраний в провинции. Блестящая конституция, это был 93-й год, период якобинского террора. Это то, к чему мы стремимся. Почти по Черномырдину: «Хотели как лучше...»

Б.П.:А можно ли сказать, что русское сознание в каком-то смысле утопическое? Все наши политические учения с X по XVIII век характеризуются утопическим сознанием, то есть мы стремимся к какому-то высокому этическому идеалу. И советское время — тоже стремление к высокому этическому идеалу. От этого этикоцентризма в политике мы отошли лишь в последние двадцать лет. Как вам кажется, обозначает ли это, что не так долго политической прагматике существовать на Руси, что скоро какая-то новая утопия к нам придет?

К.А.:Классический пример утопии такого типа — Манилов. Если считать это выражением русского духа, то это никуда, никогда от нас не денется. (*Смеются.*) Мы будем думать о том: «Ах, как славно было бы, если бы нос от Петра Петровича да к ушам Ивана Ивановича... Как хорошо бы здесь проложить хрустальный мостик, чтобы в гости ходить друг к другу». Это никуда не денется, это свойство национальной культуры, свойство мышления.

Скажем, в Скандинавии за XVIII — XIX век не было создано ни одной утопии. Это свидетельствует о том, что они были очень практичными, очень приземленными. Им было не до мечтаний, они пахали. Это отчасти влияние протестантской культуры, потому что православие, равно как и католицизм, внушают веру в чудеса.

” А ожидание чуда отнимает столько сил, что их ни на что другое уже не остается. Поэтому России, наверно, это свойственно. Мечтают тогда, когда мало что можно сделать.

И, может быть, еще одна деталь: страны, где материальное существование на очень низком уровне или вообще ничтожно, как правило, сильнее в духовной жизни. Если взять, скажем, Англию, то ее часть Ирландия — самая бедная, самая нищая, но вся английская литература держится на ирландцах. Народная музыка тоже на ирландцах держится. Так же, как в конце XIX века Россию противопоставляли Западу бездуховному (тот же «Закат Европы» Шпенглера) — материалистический Запад и духовная идеалистическая Россия, потому что в ней материальное бытие было не таким, чтобы его можно было обсуждать. У нас это будет, потому что, несмотря на Церетели и прочие достижения искусства, все-таки для большинства людей мечтание и надежда на что-то чудотворное остается единственной.

Б.П.:Будет что изучать на кафедре истории социально-политических учений.

К.А.:Слава тебе, Господи!

Б.П.:Спасибо большое, Кирилл Михайлович!

К.А.:И вам спасибо.